

Борис
САВИНКОВ



ВОСПОМИНАНИЕ
ТЕРРОРИСТА

Борис Ропшин

Воспоминания террориста

«Public Domain»

1909

Ропшин Б. В.

Воспоминания террориста / Б. В. Ропшин — «Public Domain», 1909

Борис Викторович Савинков (1879-1924) – яркая и неоднозначная фигура русской истории. Дворянин, сын варшавского судьи и известной писательницы, он с юности посвятил себя революционной работе, стал одним из руководителей Боевой организации эсеров, готовил и принимал участие в убийстве министра внутренних дел В.К.Плеве, великого князя Сергея Александровича, а также во многих других террористических актах. Выданный полиции Азефом, накануне казни бежал из тюрьмы и несколько лет скрывался в эмиграции. После Февральской революции вошел в состав Временного правительства в качестве управляющего военным и морским министерством при министре А.Ф.Керенском, был военным генерал-губернатором Петрограда. После Октябрьской революции, став ярким противником советской власти, вступил с ней в открытую борьбу. Схваченный ВЧК, погиб в ее застенках. «Воспоминания террориста» – яркий, эмоциональный рассказ Савинкова о том времени, когда он был руководителем Боевой организации, действия которой наводили ужас на царскую охранку.

© Ропшин Б. В., 1909

© Public Domain, 1909

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	8
ГЛАВА ПЕРВАЯ	8
I	8
II	10
III	14
IV	16
V	19
VI	21
VII	25
VIII	28
IX	32
X	34
XI	38
ГЛАВА ВТОРАЯ	41
I	41
1	43
2	44
II	46
III	49
IV	53
Конец ознакомительного фрагмента.	59

В.Ропшин (Б.Савинков)

Воспоминания террориста

ПРЕДИСЛОВИЕ

К изданию «Воспоминаний террориста» 1928 года

Воспоминания Савинкова... Воспоминания человека, который от марксизма перебрался к «традициям» «Народной Воли», притом в его узком понимании этой партии, как воплощения идеи террористической борьбы. Благодаря такому пониманию стал социалистом-революционером, причем, будучи членом этой партии, признавал только боевую организацию, только боевые действия... А затем, с этого чалого коня перешел на «белого», затем на «вороного», чтобы в конце своего жизненного пути вновь ударить себя в грудь и публично заявить: «Я ошибался».

Ошибался ли он? Личная ли это ошибка или неизбежное истеричное шатание из стороны в сторону представителя мелкобуржуазной среды, того класса, который обречен на гибель в великой борьбе труда с капиталом и в поисках спасения мечущегося и перекидывающегося то на сторону труда, то на сторону капитала?

Савинков типичен для этой среды. На мрачном фоне самодержавно-феодалного строя, он, если не объективно, то субъективно революционер, но «революционер» особенный, «революционер», просмотревший первые громы революции, не понимавший движения масс, не веривший в массы, противопоставлявший единичный террор движению масс, видевший возможность победы только путем террора, возводивший террор в принцип и ради осуществления террористического акта готовый поступиться всем – и партией, и ее программой, и даже тем, что считал своим «святая святых», – патриотизмом.

Весьма характерен следующий маленький отрывок из воспоминаний.

Член финской партии Активного Сопротивления журналист Жонни Циллиакус сообщил центральному комитету (партии с.-р.), «что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров (!) в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ».

К этому сообщению в выноске Савинков добавляет: «Впоследствии в „Новом Времени“ появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам». И только... Сам Савинков, с пеной у рта кликушествовавший вместе со своими соратниками о «германских деньгах», причем весь этот навет был сознательно ими сочинен, по поводу этого миллиона франков даже не побеспокоился проверить, чем, в самом деле, обусловлена эта щедрость американцев, ныне, как известно, отпускающих миллионы на поддержку не русского народа, а Романовых.

Это лишь один, но очень характерный штрих... «Все для террора» – вот Савинковское знамя первого периода его деятельности. Все на благо, что на потребу боевой организации. Максималисты и анархисты – раз они «за бомбу» – желанные члены этой организации. С программой партии можно не соглашаться, идейно можно расходиться, достаточно признавать бомбу – вот идеология Савинковых.

И неудивительно, что, когда грянули громы первой революции, когда в бой двинулись массы, Савинковы должны были оказаться не у дел; их не менее, чем тех, против которых они боролись, запугало это выступление масс, и они, отвергнутые историей, не понимая грандиоз-

ности происшедшего сдвига, предались «самоанализу», перебросились на ту сторону баррикад, скатываясь по наклонной плоскости все глубже и глубже в грязную пропасть белогвардейщины.

Печатаемые ныне «Воспоминания» Савинкова относятся к первому «героическому» периоду его деятельности. Но они написаны значительно позже, уже тогда, когда Савинков окончательно перешел в стан «ликующих, праздно болтающих, обгадряющих руки в крови». При чтении его «Воспоминаний» это необходимо иметь в виду и ко многим его характеристикам относиться критически. Во многих случаях Савинков наделяет описываемых им лиц своими личными чертами.

О Каляеве он говорит: «К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву». (Подчеркнуто мною – Ф.К.) Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. С.-р. без бомбы уже не с.-р.»

Перейдем к другим. Дора Бриллиант. «Террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист. Вопросы программы ее не интересовали. Террор для нее олицетворял революцию и весь мир был замкнут в боевой организации».

Егор Сазонов. (В других источниках – Созонов. – Ред.) «Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом».

Сазонова наделять личными чертами Савинкова труднее. Ему нельзя, как Доре Бриллиант, вложить в уста слова: «Я должен умереть». Поэтому Савинков признает: «Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, Сазонов не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему „не убий“. Но хотя эти вопросы и бледнели, но не для Савинкова.

– Скажите, – спрашивает он Сазонова, – как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

– Гордость и радость, – не задумываясь ответил Сазонов.

– Только?

– Конечно, только.

Савинков на этом успокоиться не может и добавляет:

«Сазонов впоследствии мне написал с каторги: „Сознание греха никогда не покидало меня“.

Уже в этом отрывке «достоевщина», присущая Савинкову, четко выступает наружу. Но это цветочки, а вот и ягодки. «В момент убийства великого князя Сергея Дора (Бриллиант) наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла: Это мы его убили... Я его убила... Я...»

– Кого? – переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

– Великого князя...

А вот Леонтьева. «Она, – сообщает Савинков, – участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, – с радостным сознанием большой и светлой жертвы».

Еще характернее в освещении Савинкова Бенеvская, верующая христианка, ради спасения души признававшая террор.

Таких характеристик у Савинкова многое множество. И, конечно, они не верны. Савинков, кого может, наделяет своими чертами периода своего упадка. Кого может. Но может не всех. Савинковских черт не приписать сормовскому рабочему Назарову, который на все вопросы Савинкова заявил: «По-моему, нужно бомбой их всех. Нету правды на свете. Вот во время восстаний сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужели еще терпеть? Ну, и терпи, если хочешь, а я не могу»...

Назаровы могут ошибаться, но, даже идя по ложному пути, они ничего общего с савинковщиной не имеют, им ее не привить.

Но, приписывая свои черты определенным лицам и этим греша против этих лиц, Савинков в своих «Воспоминаниях» верно отражает черты мечущейся из стороны в сторону мелкобуржуазной среды. «С.-р. без бомбы уже не с.-р.» А начавшаяся массовая революция отменила единичный террор. Савинковы очутились на мели. Они революции без бомб не признавали. «Неожиданное выступление петербургских рабочих со священником во главе действительно давало иллюзию (!!) начавшейся революции». Для них это была иллюзия. Только иллюзия. Почему? «Я плохо верил, – говорит Савинков, – в революционный подъем рабочих масс».

«Плохо верил»... А когда двенадцать лет спустя рабочие массы заставили его «хорошо поверить», он направил свое оружие против них, пошел с белыми, брал от западноевропейских демократов деньги на убийство Ленина...

Савинков посвятил свои «Воспоминания» первому эсэровскому периоду своей деятельности. С ними стоит познакомиться, их следует читать. Они освещают, помимо воли автора, тот период, когда партия с.-р. еще не была той «ручной» партией, за спиной которой в момент революционного выступления масс пряталась вся черная реакция, но когда, несмотря на героизм отдельных лиц, все данные для того, чтобы стать таковой, уже были налицо. И не потому, что субъективно тот или другой член партии с.-р. собирался изменить рабочим массам, а по своей мелкобуржуазной сущности. «Рожденный ползать летать не может». Партия, не стоящая на почве революционного марксизма, партия, не сознающая исторической миссии пролетариата и потому не верящая в его революционность, могла героически бороться с самодержавием, как врагом среды, интересы которой она защищала. Но в момент революции, когда со стороны пролетариата этой мелкобуржуазной среде грозила опасность, она должна была выявить свой подлинный облик. Истинные революционеры в лице М.А.Натансона, Устинова и других отшатнулись от нее и примкнули к коммунистическому движению, а партия с.-р. пошла к Колчакам, Деникиным, Юденичам.

С.-р. отшатнулись от Савинкова. Напрасно. Он лишь откровеннее и прямолинейнее. Но он с.-р., до мозга костей с.-р. Таким он выступает и в своих «Воспоминаниях», и это придает цену этим «Воспоминаниям».

Феликс Кон.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ УБИЙСТВО ПЛЕВЕ

I

В начале 1902 года я был административным порядком сослан в г. Вологду по делу с.-петербургских социал-демократических групп «Социалист» и «Рабочее Знамя». Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям «Народной Воли».

В Вологду дважды – осенью 1902 г. и весной 1903 г. – приезжала Е.К.Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к партии социалистов-революционеров, а после ареста Г.А.Гершуни (май 1903 г.) решил принять участие в терроре. К этому же решению, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле.

В июне 1903 г. я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и, оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский порт Вардэ мурманский пароход «Император Николай I». У меня не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был, без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.

На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел к младшему штурману.

– Я еду в Печеньгу (последнее перед норвежской границей русское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно это устроить?

Штурман внимательно посмотрел на меня.

– Вы что же, по рыбной части?

– По рыбной.

– Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?

– У меня паспорта заграничного нет.

– Зачем вам паспорт? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и на рассвете обратным рейсом в Печеньгу. Только билет купите.

На следующий день показались маяки Вардэ. На пароход поднялись чиновники норвежской таможни. Я сошел в шлюпку и через четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардэ, через Тронтгейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.

В Женеве я познакомился с Михаилом Рафаиловичем Гоцем. Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими, горячими и живыми глазами. Увидев меня, он сказал:

– Вы хотите принять участие в терроре?

– Да.

– Только в терроре?

– Да.

– Почему же не в общей работе?

Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в полном распоряжении центрального комитета и готов работать в любом из партийных предприятий.

Гоц внимательно слушал. Наконец, он сказал:

– Я еще не могу дать вам ответ. Подождите, – поживите в Женеве.

Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым (убит в 1905 г. в Житомире, защищая во время погрома евреев) и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они – бывшие студенты Киевского университета и близкие товарищи С.В.Балмашева, но я не знал, что они члены боевой организации. Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1901 г. Он приехал в Петербург независимо от П.В.Карповича и даже не подозревая о приезде последнего, но с той же целью – убить Боголепова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет группы «Социалист» и «Рабочее Знамя». Мы отнеслись к его просьбе с недоверием и в помощи отказали. Убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. Покотилов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими силами и на свой страх совершить покушение. Случайно Карпович предупредил его.

В августе в Женеву приехал один из товарищей. Он сообщил мне, что Каляев отбывает приговор (месяц тюремного заключения) в Ярославле, и поэтому только поздней осенью выезжает за границу. Товарищ поселился со мною. Чтобы не обратить на себя внимание полиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии.

Изредка посещала нас Брешковская.

Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем, лицом, с большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф.

Он протянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова:

– Мне сказали, – вы хотите работать в терроре? Почему именно в терроре?

Я повторил ему то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собеседник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец, он спросил:

– У вас есть товарищи?

Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их подробные биографии и дал характеристику каждого. Азеф выслушал молча и стал прощаться.

Он приходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно слушал. Однажды он сказал:

– Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из Женевы, поживите где-нибудь в маленьком городке и проверьте, – не следят ли за вами.

На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две недели нас посетил Азеф и на этот раз впервые сообщил план покушения, не упоминая ни словом о личном составе организации. План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции (Фонтанка, 16) и еженедельно ездит с докладом к царю, в Зимний дворец, в Царское Село или в Петергоф, смотря по времени года и по местопребыванию царя. Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то было решено учредить за ним постоянное наблюдение. Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его карету на улице бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например, газетчики, извозчики, торговцы в разнос и т.п. Было решено поэтому, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу в разнос табачных изделий и, продавая на улице папиросы, будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблюдением.

План этот принадлежал целиком Азефу и был чрезвычайно прост. Но именно своей простотой он давал нам преимущество перед полицией. Уличное наблюдение никогда не применялось революционерами не только в период Гершуни, но и во времена «Народной Воли», если не считать приготовлений к первому марта 1881 г. Полиция едва ли могла предположить, что члены боевой организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют в разнос. Между тем, систематическое наблюдение неизбежно приводило к убийству Плеве на улице. Кончая со мной разговор, Азеф сказал с убеждением:

– Если не будет провокации, Плеве будет убит. Из Фрейбурга один из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть, через Александрово уехал в Россию. У меня не было паспорта, и я должен был получить его в Кракове. Я поехал в Краков через Берлин, и в Берлине встретился снова с Азефом и только что приехавшим из России Каляевым.

Мы сидели втроем на Leipzigerstrasse в одном из больших берлинских кафе. Каляев горячо говорил о терроре, о своем непреклонном желании участвовать в деле Плеве, о психической невозможности для себя мирной работы. Азеф лениво слушал. Когда Каляев умолк, он равнодушно сказал:

– Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может быть, мы потом и вызовем вас.

Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа:

– Он не понравился вам?

Азеф подумал с минуту.

– Нет. Но он странный какой-то... Вы его знаете хорошо?

На улице, сердясь и волнуясь, меня ждал Каляев. Я взял его под руку.

– Что ты, Янек?.. Он не понравился тебе? Да?

Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:

– Нет... Но знаешь... Я не понял его, может быть, не пойму никогда.

В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава организации, ни партийных паролей, ни явок. Я ждал Азефа: он обещал приехать непосредственно вслед за мной.

II

В Петербурге я остановился в Северной гостинице. В тот же день вечером я пошел на явку к раньше уехавшему товарищу. Он должен был ждать меня ежедневно на Садовой, от Невского до Гороховой. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне лицо. Чем дальше я шел, тем все менее оставалось надежды на встречу. Я думал уже, что товарища нет в Петербурге, что он либо арестован на границе, либо не сумел устроиться торговцем. Вдруг чей-то голос окликнул меня:

– Барин, купите «Голубку», пять копеек десяток.

Я оглянулся. В белом фартуке, в полушубке и картузе, небритый, осунувшийся и побледневший, предо мной стоял тот, кого я искал. На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками и разной мелочью. Я подошел к нему и, выбирая товар, успел шепотом назначить свидание в трактире.

Часа через два мы сидели с ним в грязном трактире, недалеко от Сенной. Он оставил дома лоток, но был в том же полушубке и картузе. Разговаривая с ним, я долго не мог привыкнуть к этой новой для меня его одежде.

Он рассказал мне, что другой товарищ уже извозчик, что они оба следят за домом министра и что однажды им удалось увидеть его карету. Он тут же описал мне внешний вид выезда Плеве: вороные кони, кучер с медалями на груди, ливрейный лакей на козлах и сзади – охрана: двое сыщиков на вороном рысаке. Товарищ был доволен удачей, но жаловался на трудности своего положения.

– Стою я у Цепного моста, – рассказывал он мне, – жду. Вижу, городской таращит глаза. Я шапку снял, поклонился низко и говорю: ваше, говорю, благородие, дозволейте спросить, кто в этих хоромах живет, уж не сам ли, говорю, царь, очень уж много начальства всякого при дверях? Посмотрел на меня городской сверху, усмехнулся. – Дурак, говорит, деревня... Что ты можешь, говорит, понимать? Это министр тут живет. – Министр? – говорю, – это, значит, который генерал главный? – Дурак, министр и значит министр... Понял? – Так точно, говорю, понял. Что же, говорю, очень богатый, значит, министр? Тысяч, чай, сотню в год получает? Опять улыбнулся городской, говорит: – Дурак... эка сказал: сто тысяч... подымай выше, – миллион... А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, подают карету к подъезду, значит, Плева поедет. Городской говорит: – Ну, ну, проваливай, говорит, сукин сын, нечего здесь болтаться... Я за мост зашел, стою, будто бы лоток поправляю, а между тем смотрю: Плева едет... А то еще случай был: конный городской как-то меня заметил. – Ты, говорит, что тут делаешь, сукин сын?.. Пошел вон, говорит. – Простите, говорю, ваше благородие, так что здесь очень весело торговля идет... Ка-ак он закричит: – Разговаривать!.. Дворник!.. В участок его веди!.. Подскочил тут дворник с поста: идем, говорит... Пошли. За угол завернулись, я вынул целковый и говорю: возьмите, будьте добры, господин дворник, в знак уважения, и отпустите меня, Христа ради, я человек, говорю, маленький, долго ль меня обидеть?.. Дворник глянул на рубль, потом на меня. Рубль взял и говорит: ну, иди, сукин сын, да смотри: будешь еще в участке...

Он рассказал мне еще, что положение табачника затрудняется не только преследованием полиции, но и конкуренцией других торговцев. Места на улице все откуплены, и приходится спорить с теми, кто издавна занимает их. Кроме того, торговец в разнос не имеет права останавливаться на мостовой: по полицейским правилам, он обязан беспрерывно находиться в движении. Он говорил, что наблюдать извозчику удобнее и легче. Он ссылаясь на пример другого товарища, который почти не встречал препятствий в своей езде по городу. Я повидался с последним и убедился, что у извозчика есть зато другая существенная помеха: у него была большая лошадь, и из трех дней два он не мог выезжать. Кроме того, ему постоянно приходилось возить седоков. Его наблюдение, поэтому, не давало почти никаких результатов.

Наступил декабрь, а от Азефа не было никаких известий. Впоследствии выяснилось, что его задержали за границей дела по динамитной технике, письма же его ко мне не доходили по неточности адреса. Один товарищ продолжал следить, как табачник, другой – как извозчик. Я бродил по Фонтанке и набережной Невы, надеясь встретить случайно Плева. Наше общее наблюдение отметило только внешний вид его выезда и однажды маршрут: он ехал по Фонтанке и набережной Невы, по направлению к Дворцовому мосту, но в Зимний дворец или Мариинский – выяснить не могли.

Причины отсутствия и молчания Азефа были нам неизвестны. Я решил, поэтому, навести справку. Я вспомнил, что Азеф указал мне в Петербурге известного журналиста Х. К нему я должен был в крайнем случае обратиться за помощью. Х. выслушал меня с удивлением.

– Я давно ничего не знаю об Азефе, – сказал он, – и помочь вам ничем не могу.

Я вернулся домой в нерешительности. Я колебался, продолжать ли мне наблюдение с помощью двух товарищей, сил которых было, очевидно, для него недостаточно, или поехать за границу и посоветоваться о положении дел с Гоцем. Я съездил в Вильно по порученным мне Азефом общепартийным делам и, вернувшись в первой половине декабря в Петербург, остановился в меблированных комнатах «Россия», на Мойке. Хотя известий от Азефа все еще не было никаких, я все-таки решил ожидать его в Петербурге. Неожиданный случай изменил это мое решение.

Однажды утром дверь моего номера слегка приоткрылась, в щель просунулась голова, затем голова исчезла, и уж после этого ко мне постучались.

– Войдите.

Вошел еврей лет сорока, в потертом сюртуке, грязный, с бегающими глазами. Он протянул мне руку и сказал:

– Здравствуйте, г-н Семашко.

Я с удивлением смотрел на него. Помолчав, он сказал:

– Я виленец: тоже приехал из Вильно.

Я понял, что он мог знать о моем, именно из Вильно, приезде, либо наблюдая за мной по дороге, либо увидев мой паспорт с виленской свежей явкой. Но паспорт мой был в конторе, и показать его швейцар мог только полиции. Я был убежден поэтому, что предо мной шпион.

– Садитесь. Что вам угодно?

Он сел за стол, спиной к окну. Мне оставалось сесть лицом к свету. Он положил голову на руку и, улыбаясь, пристально разглядывал меня. Я повторил свой вопрос.

– Что вам угодно?

В ответ он сказал, что его фамилия Гашкес, что он редактор-издатель торговой, промышленной и финансовой газеты, и что он просит меня сотрудничать у него. Тогда я резко сказал:

– Я не писатель. Я представитель торговой фирмы.

– Что значит вы не писатель? Что значит представитель торговой фирмы? Ну, какой фирмы вы представитель?

Я встал.

– Извините меня, г-н Гашкес, я ничем полезен вам быть не могу.

Он вышел; вслед за ним вышел и я.

На улице, у витрины ювелирного магазина, стоял Гашкес и рассматривал со вниманием ювелирный товар. Поодаль два молодца в высоких сапогах и каракулевых шапках также внимательно разглядывали в окне дамские платья.

Я повернул направо, на Гашкеса. Он отделился от магазина и, улыбаясь, пошел за мной. Я взял извозчика. Он немедленно сел на другого. Я понял, что меня арестуют.

Более трех часов я бродил по Петербургу, с извозчика на извозчика, с конки на конку.

Под вечер я очутился далеко за Невской заставой среди огородов и пустырей. Кругом не было ни души. Я решил сообщить товарищам о происшедшем и не возвращаться более к себе в номера. Я решил также не ожидать больше Азефа: паспорт Семашки был, очевидно, известен полиции, другого у меня не было, жить же без паспорта неопределенное время было трудно. Я пошел на Садовую и на ходу сказал товарищу, что за мной следят. С вечерним поездом я выехал в Киев.

Я поехал в Киев, потому что только в Киеве надеялся найти партийных людей и получить возможность выехать за границу. Через одного личного приятеля я разыскал в Киеве представителя К. Тот устроил меня на той же конспиративной квартире, на которой ночевал и сам. В первый же вечер туда пришел один рабочий, нелегальный. По целым дням он молчал, не принимая никакого участия ни в каких разговорах. Позднее, и не от него, я узнал, что он участвовал в одном крупном провинциальном террористическом акте, был ранен, обливаясь кровью, успел дотащиться до своей квартиры. Он тоже ехал теперь за границу. Мы решили с ним ехать вместе.

В начале января мы выехали из Киева в Сувалки. В Сувалках у нашего нового товарища была знакомая еврейка, с помощью которой можно было без паспорта перейти границу. Увидев нас, она немедленно привела фактора, и мы, заплатив ему каждый по 13 руб., в тот же вечер тряслись на еврейской балагуле по направлению к немецкой границе. Переночевав на указанной фактором мельнице, мы на следующую ночь, в сопровождении солдата пограничной стражи, уже переправлялись в Германию. Партия эмигрантов, кроме нас двоих, состояла сплошь из евреев, уезжавших вместе с женами и детьми в Америку. Была морозная лунная ночь, под ногами хрустел снег. Наш проводник, солдат, ушел вперед, приказав нам ждать его условного свиста. С четверть часа мы сидели в снегу. Направо и налево мерцали огни кордо-

нов. Наконец, вдали раздался слабый протяжный свист. Евреи вскочили и, как потревоженное стадо, толкая друг друга и падая в снег, побежали по залитой лунным светом дороге. На утро мы ехали в немецких санях по немецкой земле, а через несколько дней были уже в Женеве.

В Женеве я явился к Чернову.

Я сказал ему, что меня удивляет отсутствие Азефа в Петербурге, что, предоставленные собственным силам, мы, очевидно, не можем подготовить покушение на Плеве, что я предпочел бы работать самостоятельно, хотя бы и в менее крупном деле, например, в деле киевского ген[ерал]-губ[ернатора] Клейгельса. Чернов сказал мне, что Азеф уже выехал в Россию, и что он не может дать мне ответа, а советует обратиться к Гоцу, который находится теперь в Ницце. В тот же вечер я выехал в Ниццу. Гоц, хотя и очень больной, был еще на ногах. Он со вниманием выслушал меня и, когда я кончил, сказал:

– Валентин Кузьмич (партийный псевдоним Азефа) не мог выехать раньше, потому что его задержали работы по динамитной технике. Письма до вас не дошли отчасти по вашей вине: вы дали неточный адрес. Я вам советую: поезжайте сейчас же обратно и найдите его.

Я сказал, что не могу ехать на тех же условиях, на каких ехал раньше, что со мной связаны два работавших в Петербурге товарища, из которых один никого, кроме меня, из партийных людей не знает, что я могу опять не встретиться с Азефом, и тогда мое положение без денег, паролей и явок будет не лучше того, в каком я оказался в Петербурге.

Гоц выслушал меня, не прерывая. Потом сказал:

– Я вам дам адреса, пароли и явки. Если вы не встретите Азефа, вы будете все-таки в силах продолжать начатое дело. Но поезжайте сейчас же, сегодня же обратно в Россию.

Я узнал тогда впервые от Гоца, что Блинов не поехал в Россию и что, кроме меня и двух моих товарищей, боевая организация состоит еще из Покотилова и бывших студентов Московского университета: Максимилиана Ильича Швейцера и Егора Сергеевича Сазонова. Швейцер, по партийной кличке «Павел», впоследствии «Леопольд», и Покотилон («Алексей»), с динамитом и гремучей ртутью, ожидали приезда Азефа, один в Риге, другой – в Москве. Сазонов («Авель») жил в Твери, изучая извозное ремесло: он должен был стать в Петербурге извозчиком. Ни Швейцера, ни Сазонова я лично не знал, но мне и тогда уже было ясно, что с такими небольшими силами невозможно выследить и убить Плеве, тем более, что Швейцер и Покотилон не предназначались для наблюдения. Я сказал об этом Гоцу и предложил взять с собой в Россию Каляева и приехавшего со мной рабочего. Гоц подумал минуту:

– Каляева я знаю, – сказал он, – он будет хороший работник. Пусть едет с вами... Другой нам неизвестен: пусть подождет. Мы присмотримся в Женеве к нему, а вы вызовете его, если будет нужно.

Вернувшись в Женеву, я сказал Каляеву, что он едет со мной. Каляев обрадовался чрезвычайно. Он немедленно стал собираться в дорогу, и в тот же день мы выехали в Берлин. У Каляева был русский (еврейский) паспорт, у меня – английский. В Берлине нужно было визировать его у русского консула.

Всю дорогу до Берлина Каляев был радостно оживлен. Не расспрашивая меня о положении дел, он подробно говорил о своих планах, о том, как, по его мнению, удобнее и легче убить Плеве. Я сказал ему, в разговоре, что ему, вероятно, придется торговать на улице в разнос. Он рассмеялся:

– Что ж ты думаешь, из меня выйдет плохой табачник?

Я посмотрел на его бледное интеллигентное лицо с тонкими чертами, на его скорбные, большие глаза, на худые, нерабочие руки и промолчал. Я не мог знать тогда, что ему не будет соперников в трудной роли уличного торговца.

В Берлине я распрошлся с ним. Он поехал через Эйдкунен; я – на Александрово. Мы встретились с ним в Москве.

III

В Москве несколько дней прошло в ожидании Азефа. Каляев и я жили в разных гостиницах и встречались изредка и только по вечерам.

В конце января в Москву приехал Азеф. Увидев меня, он сказал:

– Как вы смели уехать из Петербурга?

Я отвечал, что уехал потому, что не было от него известий, и еще потому, что мой паспорт был установлен полицией.

Он нахмурился и сказал:

– Вы все-таки не имели права уехать.

– А вы имели право, сказав, что приедете через три дня, оставаться за границей месяц и больше?

Он молчал!

– Я был занят за границей делами.

– Мне все равно чем, но вы нас бросили в Петербурге.

Он молчал еще.

– Ваша обязанность была ждать меня и следить за Плеве. Вы следили?

Я рассказал ему то, что мы узнали о Плеве.

– Это очень немного. Извольте ехать назад в Петербург.

Я ответил, что для этого только я из-за границы и приехал. Я сказал также, что вместе со мной приехал Каляев, и что еще один товарищ, рабочий, ожидает в Женеве.

Было решено, что Каляев разыщет двух товарищей, прежде работавших со мной в Петербурге, и оба они станут там извозчиками. Мне Азеф поручил увидеться с Покотиловым, который жил тоже в Москве, и со Швейцером, ожидавшим распоряжений в Риге. Решено было также вызвать нового товарища из Женевы, по условию с ним, в Нижний Новгород. После свидания со мной Азеф уехал по общепартийным делам, а я остался в Москве.

Покотилев жил в гостинице «Париж», на Тверской. Я вызвал его письмом, с просьбой вечером приехать в загородный ресторан «Яр». В «Яре» я с трудом узнал его. Вместо типичного женева эмигранта, я увидел богатого русского барина с бледным лицом и длинной кудрявой золотистой бородой.

Даже экземы, которою он страдал, не было видно. В этот вечер он рассказал мне свою биографию.

– Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил меня... Потом – Балмашев... Я сказал, что я больше ждать не могу, что первое покушение – мне. Приезжал в Полтаву Гершуни. Было решено: Оболенского я убью. Я и готовился к этому... Вдруг узнаю, что не я, а Качура... Качура – рабочий, ему отдали предпочтение. Он стрелял, а не я... Вот теперь Плеве. Я не уступлю никому. Первая бомба – мне. Я ждал слишком долго. Я имею на это право.

Он волновался, и на лбу у него от волнения выступали мелкие капли крови: экзема. Он пил вино, но не пьянел и волновался все больше:

– Я совершенно верю в успех. Вы ведь знаете Валентина Кузьмича? Плеве будет бит. Только трудно ждать. Сколько времени я уже в Москве, храню динамит. Невозможно так жить, в ожидании. Я не могу.

В ответ на это я передал ему приказание Азефа ехать с динамитом в прибалтийский курорт Зегевольд и там ждать дальнейших распоряжений.

На другой день он уехал. Уехал и я, – в Ригу, отыскивать Швейцера. В Ригу должен был приехать и Каляев, – сообщить о результатах своей поездки. Швейцера в Риге уже не было. Каляев же рассказал, что оба товарища им разысканы и согласны, но что, по его мнению, только один Иосиф Мацевский действительно хочет работать. Игнатий Мацевский колеб-

лется и согласился только под влиянием Иосифа. Его наблюдение было верно: Игнатий М. не принял участия в деле Плеве, Иосиф М. же немедленно после свидания с Каляевым приехал в Петербург и устроился извозчиком.

В начале февраля я вернулся в Петербург. Азеф сообщил мне, что Швейцер и Сазонов находятся тоже в Петербурге, что товарищ Мацеевский уже знаком с последним, и что на днях и я познакомлюсь с товарищами.

Он предложил мне для этой цели прийти ночью на маскарад Купеческого клуба.

Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он говорил, из конспиративных соображений. Он требовал всегда точнейшего исполнения всех правил боевой конспирации. Он требовал, чтобы свидания бывали возможно реже и не на частных квартирах, а на улице или в публичных местах: в трактирах, в банях, в театре; чтобы при свиданиях этих принимались все меры предосторожности; чтобы у членов организации не было переписки и сношений с их семьями и друзьями; чтобы образ жизни их и одежда не возбуждали ни в ком подозрения. Очень смелый в своих планах, он был чрезвычайно осторожен в их выполнении.

В назначенный день я был на маскараде. Я видел, как Азеф вошел в зал и поздоровался с невысоким, крепким, изящно одетым молодым человеком, лет двадцати пяти. У молодого человека были сбриты усы, и по внешнему виду он напоминал иностранца. Это был Швейцер, живший по английскому паспорту.

Швейцер сразу, с первых же слов, производил впечатление спокойной и уравновешенной силы. В нем не чувствовалось того восторженного подъема, который был так ярко заметен в Покотилове и Каляеве, но он своей манерой говорить и молчать, неторопливостью своих мнений и своим медлительным спокойствием невольно внушал к себе доверие. В эту первую мою с ним встречу он говорил очень мало и только по делу.

Через несколько дней я впервые увидел Сазонова. Было условлено, что Иосиф Мацеевский и Сазонов, оба извозчики, будут ждать меня на углу Большого проспекта и 6-й линии Васильевского острова, причем для того, чтобы я мог узнать Сазонова, последний станет непосредственно за пролеткой Иосифа Мацеевского. Еще издали я увидел на козлах Иосифа. У него была щегольская пролетка, сытая лошадь, новая упряжь. Сам он, с завитыми усами и с шапкой набекрень, был очень похож на петербургского щеголя-лихача. Сзади него стоял обыкновенный захудалый Ванька. У этого Ваньки было румяное, веселое лицо и карие, живые и смелые глаза. Его посадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шапка были настолько обычны, что я колебался, не вышло ли случайной ошибки, и действительно ли этот крестьянин – тот «Авель», о котором я слышал от Азефа. Но Иосиф едва заметно улыбнулся мне и кивнул головой. Румяный извозчик смотрел на меня во все глаза и тоже слегка улыбался. Я подошел к нему и сказал условный пароль:

– Извозчик, на Знаменку.

– Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в Москве, – ответил Сазонов, смеясь одними глазами. Мы поехали в Галерную гавань. Лошаденка еле плелась, Сазонов постоянно оборачивался с козел ко мне и весело и легко рассказывал о своей жизни извозчика. От его молодого лица и веселых спокойных слов становилось спокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за углом скрылась его пролетка, мне захотелось снова увидеть эти смеющиеся глаза и услышать этот уверенный и веселый голос.

Азеф вскоре уехал по своим, как он говорил, общепартийным делам. Покотилев жил в Зегевольде, Каляев ждал в Нижнем товарища, который должен был приехать из Женевы, – Давида Боришанского («Абрам»). Швейцер хранил динамит в Либаве. В Петербурге остались Сазонов, Мацеевский и я. Этих сил для наблюдения было мало, так же мало, как в ноябре, когда мы ждали Азефа в Петербурге. Тем не менее, в феврале и в начале марта Мацеевскому и Сазонову еще несколько раз удалось видеть Плеве, а главное, удалось установить, что он, действительно, еженедельно к 12 часам дня ездит с докладом к царю, жившему тогда в Зимнем

дворце. Мне казалось, что наблюдение с такими небольшими силами и не может дать в будущем результатов, сколько-нибудь значительных. Поэтому, когда Азеф приехал в Петербург, я настойчиво стал предлагать ему немедленно приступить к покушению. Азеф возражал мне, что сведений собрано слишком мало, что маршрут Плеве в точности неизвестен, и что, поэтому, легко ошибиться. Я настаивал, указывая на возможность устроить покушение на Фонтанке, у самого дома Плеве, чем устранялись и риск ошибки, и необходимость выяснения маршрута. Но Азеф не соглашался со мною, – ему казалось такое выступление опасным: у дома Плеве была наиболее многочисленная охрана. А при неудаче дело, в лучшем случае, откладывалось на долгое время.

Тогда я предложил Азефу узнать мнение Сазонова и Мацевского. На двух извозчиках: я в пролетке Мацевского и Азеф в пролетке Сазонова, – мы поехали далеко за город и в поле устроили совещание. Мацевский настаивал на немедленном покушении. Он говорил, что раз выезд известен, то нечего больше ждать, либо никогда мы не узнаем более того, что нам известно теперь. Выяснение же маршрута необязательно, раз возможно устроить покушение у самых ворот дома Плеве.

Сазонов высказывался гораздо осторожнее. Он говорил, что не знает Плеве в лицо, что может ошибиться каретой. Он дал свое согласие только тогда, когда Мацевский предложил быть сигнальщиком и указать ему карету Плеве.

Азеф, по обыкновению, слушал молча. Когда мы кончили говорить, он медленно и, как всегда, как будто бы нехотя, стал возражать. Он приглашал к терпению и осторожности и опять указывал, что неудача может погубить дело. В ответ на его слова я настаивал еще резче. Меня поддержал на этот раз, кроме Мацевского, еще и Сазонов. Наконец, Азеф, подумав, сказал:

– Хорошо, если вы этого так хотите, попробуем счастья.

Азеф снова уехал из Петербурга. Я съездил в Либаву к Швейцеру и в Нижний к Каляеву. К 18 марта все, в том числе приехавший из Женевы Д.Боришанский, собрались в Петербурге. Только Азеф оставался по партийным делам в провинции.

IV

План покушения состоял в следующем. Около 12 часов дня по четвергам Плеве выезжал из своего дома и ехал по набережной Фонтанки к Неве и по набережной Невы к Зимнему дворцу. Возвращался он или той же дорогой, или по Пантелеймоновской мимо вторых ворот департамента полиции, к главному подъезду, что на Фонтанке. Предполагалось ждать его на пути. Покотилов с двумя бомбами должен был сделать первое нападение. Он должен был встретить Плеве на набережной Фонтанки около дома Штиглица. Боришанский, тоже с двумя бомбами, занимал место ближе к Неве, у Рыбного переуллка. Сазонов с бомбой под фартуком пролетки становился у подъезда департамента полиции лицом к Неве. Также лицом к Неве, с другой стороны подъезда, ближе к Пантелеймоновской, стоял Мацевский. Он должен был снять шапку при приближении кареты Плеве и этим подать знак Сазонову. Наконец, на Цепном мосту, имея в поле зрения всю Пантелеймоновскую, находился Каляев, на виду как Покотилова, так и Сазонова. Его обязанность была дать им знак в случае, если Плеве вернется через Литейный проспект.

Диспозиция была неудачна. Помимо того, что действие происходило у самых ворот дома Плеве, где, кроме конных и пеших городских, было везде на улице, на углах, на Цепном мосту – много агентов охраны, внимание Покотилова разбивалось между ожидаемой каретой Плеве и Каляевым, Сазонова – между Плеве, Каляевым и Мацевским. Кроме того, в действие вводилось, а следовательно, и подвергалось риску, двое безоружных, непосредственно для покушения ненужных людей, Каляев и Мацевский. Недостатки диспозиции необходимо вытекали из недостаточности наблюдения. Незнание маршрута, – возможность проезда Плеве по Литей-

ному и Пантелеймоновской, – заставило поставить на Цепном мосту Каляева, недостаточное же знакомство Сазонова с каретой министра заставило ввести в дело Мацевевского. Именно эти неудобства и предвидел Азеф, не соглашаясь на преждевременное, по его мнению, покушение.

16-го я имел свидание для последних переговоров с Покотиловым и Швейцером. Свидание состоялось на кладбище Александро-Невской лавры, у могилы Чайковского. Швейцер холодно и спокойно обсуждал мельчайшие детали нашего плана. Ему предстояла трудная задача – за ночь он должен был приготовить пять бомб и на утро раздать их метальщикам. Покотиллов, как всегда, волновался. Он горячо говорил, что уверен в удаче, как уверен и в том, что именно ему, а не Боришанскому и Сазонову, выпадет честь убить Плеве. Он настаивал также, чтобы Боришанский в случае, если ему придется бросать первую бомбу, бежал не в переулок, а на него, Покотилова. Он говорил, что своими бомбами он сумеет защитить и его, и себя. Во время нашего разговора, на кладбище, на соседней дорожке неожиданно показался пристав с рядом городских. Между могильных крестов замелькали погоны и сабли. В ту же минуту Покотиллов вынул револьвер и быстро, большими шагами пошел навстречу полиции. Швейцер спокойно ждал у могилы, засунув руку в карман, где лежал его револьвер. Я с трудом догнал Покотилова. Он обернулся ко мне и шепнул:

– Уходите с Павлом, я удержу их на несколько минут.

Городовые приближались по боковой аллее. Я схватил Покотилова за руку.

– Что вы делаете? Спрячьте револьвер.

Он хотел мне что-то ответить, но в это время полицейские повернули на другую дорожку и стали скрываться из виду. Очевидно, тревога была не для нас.

Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотиловым. Мы сидели с ним в театре «Варьете» до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил:

– Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит.

Утром, в 8 часов, я простился с ним, чтобы через два часа встретиться снова. В 10 часов, на 16-й линии Васильевского острова, Швейцер должен был передать снаряды метальщикам. Он должен был подъехать к условленному заранее дому в пролетке Сазонова. Покотиллов должен был сесть в пролетку и ехать до Тучкова моста, где, взяв свою бомбу, выйти и уступить место ожидавшему на Тучковом мосту Боришанскому; тот, взяв свою бомбу, должен был выйти вместе со Швейцером, который оставлял в пролетке последний снаряд – для Сазонова. Боришанский, невозмутимый, как всегда, не выражал ни одобрения, ни осуждения нашему плану. Он молча выслушал все подробности диспозиции и аккуратно в назначенный час явился на Тучков мост.

Я видел, как Швейцер подъехал к Покотиллову, и как Покотиллов сел в пролетку Сазонова. Я пошел отыскивать Каляева. Каляев был огорчен.

– Мне не досталось снаряда. Почему Боришанский, а не я?

Я успокаивал его, говоря, что троих метальщиков довольно, что Боришанский с таким же правом мог бы сказать те же слова, если бы не у него, а у Каляева была в руках бомба.

– Я не хочу рисковать меньше других, – сказал Каляев.

Я сказал ему в ответ, что риск всегда одинаков и что в случае ареста он будет судиться вместе со всеми и по той же статье закона. Он промолчал.

В двенадцатом часу, я, по условию, прошел в Летний сад и, сев на скамью на дорожке, параллельной Фонтанке, стал ждать. Сазонов, Покотиллов, Боришанский, Иосиф Мацевевский и Каляев каждый занял свое место. Так прошло полчаса в ожидании.

Вдруг раздался удар, будто взорвалось что-то. Я невольно поднялся.

На другой стороне Фонтанки было по-прежнему все тихо. Стреляла полуденная пушка в Петропавловской крепости.

В ту же минуту в воротах сада я увидел Покотилова. Он был бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно обозначались бомбы. Он подошел к моей скамье и тяжело опустился на нее.

– Ничего не вышло: Боришанский убежал.

– Кто убежал?

– Боришанский.

– Не может этого быть.

– Я видел сам: убежал.

Мы вышли с Покотилковым из Летнего сада. На Цепном мосту, прислонившись к перилам, высоко подняв голову и не спуская глаз с Пантелеймоновской улицы, стоял Каляев. Он удивленно посмотрел на Покотилова и на меня, но не двинулся с места.

Я и до сих пор ничем иным не могу объяснить благополучного исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей. Каляев настолько бросался в глаза, настолько напряженная его поза и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы, что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми был усеян мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания. Впоследствии он сам говорил, что стоял в полной уверенности, что его арестуют, что не могут не арестовать человека, в течение часа стоящего против дома Плеве и наблюдающего за его подъездом. Но и думая так, он последний ушел со своего поста, когда Сазонов и Боришанский уже отъехали от подъезда.

Только что мы минули с Покотилковым мост, как засуетились городовые и филеры, и от Невы по Фонтанке крупной рысью мимо нас промчалась карета, запряженная вороными конями, с ливрейным лакеем на козлах. В окне кареты мелькнуло спокойное лицо Плеве. Покотиллов схватился за бомбу, но карета была уже далеко и приближалась к Сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. Но на наших глазах карета, обогнув Сазонова, повернула в раскрытые ворота и скрылась. Я вернулся к Каляеву и сказал ему, чтобы он шел на место условленного заранее свидания. Покотиллов подошел к Сазонову и стал его нанимать. Я видел, как Сазонов отрицательно качнул головой. Тогда я подошел к Сазонову:

– Извозчик!

– Занят.

– Извозчик!

– Занят.

Я остановился и посмотрел в лицо Сазонова. Он был очень бледен. Я прошептал:

– Уезжайте скорее.

Но он опять отрицательно качнул головой. Я прошел мимо него и позвал Мацеевского и опять услышал то же самое.

– Занят.

Я обернулся к Цепному мосту: Каляев все еще стоял на мосту. Так ожидали они, уже без всякой надежды, еще полчаса. Неудача Сазонова произошла, благодаря одной из тех случайностей, которых нельзя ни предусмотреть, ни устранить. Как и было условлено, Сазонов стал в двенадцатом часу на свое место, лицом к Неве, так, чтобы видеть Мацеевского и набережную Фонтанки и заранее приготовиться к взрыву. Тяжелый семифунтовый снаряд лежал у него под фартуком, на коленях. Чтобы бросить снаряд, нужно было отстегнуть фартук и поднять бомбу. Это требовало несколько секунд времени. Но, стоя у подъезда Плеве и отказывая нанимавшим его седокам, Сазонов возбудил насмешки других извозчиков. Из их длинного ряда он выделялся тем, что стоял лицом к Неве, тогда как все они стояли лицом в противоположную сторону, к цирку. Эти насмешки, т.е. боязнь обратить на себя внимание, заставили его повернуть лошадь мордую от Невы и стать спиной к Мацеевскому. Таким образом, Плеве, возвращаясь,

был невидим ему и промелькнул мимо него неожиданно быстро. Сазонов схватился за бомбу, но было уже поздно.

Эта первая неудача научила нас многому. Мы поняли, что семь раз примерь и один раз отрежь.

V

Мы условились собраться после покушения на Садовой, в ресторане «Северный Полюс». Я встретил еще на улице Боришанского. Я спросил его:

– Послушайте, Абрам, вы убежали?

Он поднял на меня свои большие, светлые глаза и промолчал. Я повторил свой вопрос.

Он ответил:

– Да, я убежал.

– Какое право вы имели бежать?

Боришанский в ответ ничего не сказал. Я долго смотрел на его спокойное, точно каменное, лицо. Наконец, я его спросил:

– Почему же вы убежали?

– Странно... Если за вами следят, что вы будете делать?

– За вами следили?

– Если бы не следили, я бы не убежал.

– Слушайте, – сказал я, – товарищи могут подумать, что вы трус.

Он долго медлил ответом:

– Я не трус. Я должен был убежать. Каждый убежал бы на моем месте... И разве нужно было, чтобы меня без пользы арестовали?

В это время вошел в ресторан Каляев. По его лицу было видно, что он очень взволнован. Иногда он мельком взглядывал на Боришанского. Наконец, он не выдержал:

– Почему вы убежали, Боришанский?

Боришанский посмотрел на него:

– Что бы вы сделали, если бы шпионы вас окружили?

Каляев ничего не ответил. Не могло быть сомнения, что Боришанский говорит правду. Оставаться же с бомбою на глазах у филеров значило губить и себя, и товарищей, и самое дело.

Покушение не удалось. Жить всем членам организации в Петербурге не было цели. Швейцера в тот же день уехал с динамитом обратно в Либаву, Боришанский в Бердичев, Каляев в Киев, Покотил в Двинск, где должен был ждать известий от нас Азеф. Я остался еще на день в Петербурге и вечером встретился с Сазоновым.

Мы поехали с ним на острова. У взморья я, наконец, решился заговорить.

– Слушайте, почему вы не хотели отъехать от дома Плеве?

Сазонов обернулся с козел ко мне:

– Почему?... я надеялся, может быть, он опять поедет.

– Но вы, ведь, знали, что этого не будет?

– Эх... Ну, конечно...

Он опустил голову. Через несколько минут он снова заговорил:

– Стою я, бомбу на коленях держу... Жду... Знаете, ничего... только ноги похолодели...

Он махнул рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне:

– Это я виноват.

– В чем?

– Да вот... в неудаче.

Конечно, Сазонов был виноват менее всех, и я с гораздо большим правом, чем он, могу приписать неудачу 18 марта себе.

В Двинске Азефа не было. На почте не было условных от него телеграмм до востребования. На вокзале, меня встретил Покотиллов. Его первые слова были:

- Валентин арестован.
- Как арестован?
- Его нет. Телеграмм тоже нет. Что делать?

Азеф только впоследствии объяснил, что в Двинске заметил за собой наблюдение и, скрывая следы, три недели ездил по России. Тогда его отсутствие в такой важный момент мы могли объяснить только его арестом.

Покотиллов, волнуясь, с мелкими каплями крови на лбу, говорил:

– Валентин арестован. Покушение не удалось. Но Плеве будет убит... Плеве непременно будет убит... Неправда ли, Веньямин?

Я молчал. Мне думалось: потеря в решительную минуту Азефа лишала организацию единственного опытного террориста, – более того: лишала ее руководителя. Руководительство переходило ко мне, а я не чувствовал себя подготовленным к нему. Я попросил Покотилова съездить к Швейцеру и привезти его в Киев, куда должен был приехать и Боришанский. Я хотел посоветоваться с товарищами.

Я считал, что сил организации, с потерей Азефа, было недостаточно, чтобы убить Плеве. Мне казалось, поэтому, разумным попытаться сперва убить Клейгельса и, убив его, уже потом перейти к покушению на Плеве. Приготовления к убийству Клейгельса должны были дать недостающий нам опыт и помочь ориентироваться в почти незнакомой технике боевого дела. Я сообщил мое мнение товарищам. Каляев и Швейцер согласились со мной. Покотиллов стал возражать:

– Мы взялись за дело Плеве и не можем оставить его. Мы обязаны убить Плеве. Сил довольно. В крайнем случае, мы взорвем весь департамент полиции. Я все беру на себя.

Боришанский молчал.

– А ваше мнение? – спросил я его.

– Я поеду с Покотилловым, – отвечал он.

Было решено наихудшее: был принят компромисс. Швейцер, Каляев и я остались в Киеве для покушения на Клейгельса, Боришанский и Покотиллов уехали в Петербург, чтобы вместе с Сазоновым и Иосифом Мацеевским попытаться убить Плеве.

Их план состоял в следующем: в четверг, 25 марта, и в четверг, 1 апреля, – день, когда Плеве ездил к царю, – они должны были утром, в 11.30, выйти с бомбами навстречу министру, от Зимнего дворца по набережным Невы и Фонтанки к зданию департамента полиции. Так как маршрут Плеве и время его выезда были известны лишь приблизительно, надежды на удачное покушение было мало. Бомбы должен был приготовить Покотиллов. Сазонов и Мацеевский в покушении принимали только косвенное участие.

Наш план был прост: Клейгельс, не скрываясь, ездил по городу. Каляев и я знали его в лицо. Генерал-губернаторский дом был на Институтской улице, и куда бы Клейгельс ни ездил, он не мог миновать Крещатик. Бомбы должен был приготовить Швейцер, честь же первого нападения принадлежала Каляеву.

Такое разделение ослабляло организацию, оно уменьшало надежду на успех как того, так и другого покушения. Я не имел настолько авторитета, чтобы настоять на своем плане, но я не мог признать плана Покотилова разумным. Организация разделилась на две, почти равные части.

24 марта Покотиллов приготовил две бомбы и 25-го он и Боришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покотиллов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в Двинск. 29 марта он опять отправился в Петербург и по дороге в вагоне опять случайно встретился с Азефом. Азеф выслушал его доклад о положении организации и остался недово-

лен. Он пробовал отговаривать Покотилова от его плана, но Покотиллов стоял на своем. Тогда Азеф, простившись с ним, поехал в Киев отыскивать нас.

31 марта, ночью, в Северной гостинице, готовя во второй раз снаряды, Покотиллов погиб от взрыва. Наши бомбы имели химический запал: они были снабжены двумя крестообразно помещенными трубками с зажигательными и детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянных трубок с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки; серная кислота, выливаясь, воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнявшего снаряд. Неустрашимая опасность при зарядке заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках.

VI

О смерти Покотилова мы узнали в Киеве из газет. Для нас эта смерть явилась еще более тяжкой неожиданностью, чем неудача 18 марта.

Из нашего запаса динамита, после смерти Покотилова, осталась едва одна четверть. Она хранилась у Швейцера и из нее можно было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мнению, было достаточно для убийства Клейгельса, но нам казалось невозможным убить Плеве с помощью всего одного метальщика. Я посоветовался со Швейцером и Каляевым, и мы решили ликвидировать дело Плеве и предложить Мацеевскому, Боришанскому и Сазонову уехать за границу. Мы, втроем, должны были остаться в Киеве для покушения на Клейгельса.

Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Петербург, чтобы сообщить Мацеевскому и Сазонову о таком нашем решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе, приехал в Киев. Почти одновременно с ним неожиданно приехал в Киев и Азеф. Встретив меня в квартире ***, он сказал:

– Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое право имеете вы своей властью изменять решения центрального комитета?

Я ответил Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только арестом могли объяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в Двинске; что без его руководства мне казалось невозможным убить Плеве; что, в виду этой невозможности, я решил убить Клейгельса; что я был против поездки Покотилова в Петербург и считал его план покушения на Плеве несостоятельным и, наконец, – и это самое главное, – что динамита у нас осталось всего на одну бомбу. Я хотел прибавить также, что неудача 18 марта и смерть Покотилова породили в нас неуверенность в своих силах, и что, в таком состоянии недоверия к себе, едва ли было возможно довести до конца общеимперское дело. Но, посмотрев на Азефа, я не сказал ему этого.

Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его лицу я видел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими объяснениями. Наконец, он сказал:

– За мной следили. Я должен был уходить от шпионов. Вы могли понять это и не торопиться с предположениями о моем аресте. Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве.

Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического опыта; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего удивительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и смерть Покотилова заставили нас изменить первоначально принятый план.

Азеф нахмурился еще больше и сказал:

– Люди учатся на делах. Ни у кого не бывает сразу нужного опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать только то, что легко. Какой смысл в покушении на Клейгельса...

Я сказал, что боевая организация молчит со времени уфимского дела, т.е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство считает ее разбитой, и что, если в партии нет сил для центрального террора, то необходимо делать, по крайней мере, террор местный, как его делал Гершуни в Харькове и Уфе.

– Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастьям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, – их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, – его не убьет никто. Пусть «Поэт» (Каляев) едет в Петербург и велит Мацевскому и «Авелю» (Сазонову) оставаться на прежних местах. «Павел» (Швейцер) изготовит динамит, а вы с Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы найдем еще людей.

В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил, что Мацевский и Сазонов уже продали лошадей и пролетки, и что первый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направляется за границу. Каляев немедленно поехал в Сувалки, чтобы остановить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу, а в Харьков, где должны были собраться для совещания почти все члены организации. Швейцер получил от Азефа адрес партийного инженера. С помощью этого инженера он должен был в земской лаборатории изготовить пуд динамита. Задача ему предстояла трудная. Необходимо было незаметно приобрести нужные материалы; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию; наконец, необходимо было мириться с неустраняемыми недостатками неприспособленной к изготовлению динамита лаборатории. Швейцер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому листу на имя уполномоченного земства он закупил материал, и один, скорее с ведома, чем при помощи вышеупомянутого инженера, приготовил необходимое нам количество динамита. На этой работе он едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских, нечистых химических материалов, он заметил в нем признаки разложения, т.е. признаки моментального и неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и, второпях, стал лить прямо с руки, с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжких ожогов, но дела не бросил и, лишь изготовив нужное количество динамита, уехал в Москву. Там он пролежал несколько дней в больнице. Динамит он привез в Петербург в июне.

Тогда же в Киеве я познакомился с Дорой Бриллиант. Дора Владимировна Бриллиант была рекомендована для боевой работы Покотиловым, который близко знал ее еще по Полтаве.

Дору Бриллиант я отыскал на Жилианской улице, в студенческой комнате. Она с головой ушла в местные комитетские дела, и комната ее была полна ежеминутно приходившими и уходившими по конспиративным делам товарищами. Маленького роста, с черными волосами и громадными, тоже черными, глазами, Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Все ее поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре убедили меня, что в ее лице организация приобретает ценного и преданного работника.

Переговорив с Бриллиант, я уехал в Харьков. Туда же приехали Азеф, Сазонов и Каляев. В Харькове я увидел впервые Сазонова не на козлах и не в извозчиьем халате. Он был выше среднего роста, с румяным, открытым и веселым лицом. Узнав от Швейцера, что решено ликвидировать дело и что ему предложено ехать за границу, он чрезвычайно огорчился: такое предложение равнялось в его глазах приказанию оставить поле сражения. Тем не менее, подчиняясь дисциплине организации, он продал лошадь и пролетку и поехал в Сувалки. В поезде между Сувалками и Вильно его встретил Каляев. К своей радости Сазонов узнал от него, что,

вместо Женева, ему предложено ехать в Харьков. Здесь, в Харькове, он близко сошелся с Каляевым, хотя и ему Каляев на первый взгляд показался странным.

Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он любил искусство. Когда не было революционных совещаний и не решались практические дела, он подолгу и с увлечением говорил о литературе. Говорил он с легким польским акцентом, но образно и ярко. Имена Брюсова, Бальмонта, Блока, чуждые тогда революционерам, были для него родными. Он не мог понять ни равнодушия к их литературным исканиям, ни тем менее отрицательного к ним отношения: для него они были революционерами в искусстве. Он горячо спорил в защиту «новой» поэзии и возражал еще горячее, когда при нем указывалось на ее, якобы, реакционный характер. Для людей, знавших его очень близко, его любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же огнем, – несознательным, робким, но глубоким и сильным религиозным чувством. К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву.

Сазонов был социалист-революционер, человек, прошедший школу Михайловского и Лаврова, истый сын народовольцев, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший кроме нее. В этой страстной вере в народ и в глубокой к нему любви и была его сила. Неудивительно поэтому, что вдохновенные слова Каляева об искусстве, его любовь к слову, религиозное его отношение к террору показались Сазонову при первых встречах странными и чуждыми, не гармонирующими с образом террориста и революционера. Но Сазонов был чуток. Он почувствовал за широтою Каляева силу, за его вдохновенными словами – горячую веру, за его любовью к жизни – готовность пожертвовать этой жизнью в любую минуту, более того, – страстное желание такой жертвы. И все-таки, в первый из наших харьковских дней, Сазонов, встретив меня в Университетском саду, подошел ко мне с такими словами:

– Вы хорошо знаете «Поэта»? Какой он странный.

– Чем же странный?

– Да он, действительно, скорее поэт, чем революционер.

Сазонов смутился. Может быть, ему показалось, что в его словах было косвенное осуждение Каляева. Я же ни до, ни после, никогда не слышал, чтобы он осуждал кого-либо.

– Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна «Народная Воля», нужно все силы напирать на террор, тогда победим. Вот и «Поэт» думает так.

Каляев, действительно, думал так. Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. Он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя любил и понимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего, о его решающем влиянии на революцию.

– Знаешь, – говорил он мне в Харькове, – я бы хотел дожить, чтобы видеть... Вот, смотри – Македония. Там террор массовый, там каждый революционер – террорист. А у нас? Пять, шесть человек и обчелся... Остальные в мирной работе. Но разве с.-р. может работать мирно? Ведь с.-р. без бомбы уже не с.-р. И разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?.. О, я знаю: по всей России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмется за бомбы. И тогда революция...

В Университетском саду происходили все наши совещания. Азеф предложил следующий план. Мацевский, Каляев и убивший в 1903 г. уфимского губернатора Богдановича Егор Олимпиевич Дулебов, нам тогда еще незнакомый, должны были наблюдать за Плеве на улице: Каляев и один вновь принятый товарищ – как папиросники. Дулебов и Иос. Мацевский – в качестве извозчиков. Я должен был нанять богатую квартиру в Петербурге с женой – Дорой Бриллиант и прислугой: лакеем – Сазоновым и кухаркой – одной старой революционеркой, П.С.Ивановской. Цель этой квартиры была двоякая. Во-первых, предполагалось, что Сазо-

нов-лакей и Ивановская-кухарка могут быть полезны для наблюдения и, во-вторых, я должен был приобрести автомобиль, необходимый, по мнению Азефа, для нападения на Плеве. Учиться искусству шофера должен был Боришанский.

Я усиленно возражал Азефу против покупки автомобиля. Я признавал значение конспиративной квартиры и для наблюдения, и для хранения снарядов, но я не видел цели в приобретении автомобиля. Мне казалось, что пешее нападение на Плеве, при многих метальщиках, гарантирует полный успех, и что, наоборот, автомобиль может скорее обратить на себя внимание полиции. Азеф не очень настаивал на своем плане, но все-таки предложил мне нанять квартиру и устроиться в Петербурге.

Сил организации было больше, чем когда бы то ни было. Потеря Покотилова возмещалась новыми членами. Кроме того, прошедшие неудачи, не устраняя, конечно, возможности новых, обеспечивали от повторения грубых ошибок. Настойчивость Азефа, его спокойствие и уверенность подняли дух организации, и мне было странно, как мог я решиться ликвидировать дело Плеве и предпринять провинциальное, не имеющее политического значения, покушение на Клейгельса. Не преувеличивая, можно сказать, что Азеф возродил организацию, мы приступили к делу с верой и решимостью во что бы то ни стало убить Плеве.

Когда план был обсужден нами и принят, и люди распределены, Азеф уехал за Дулебовым, а также по делам сорганизовавшегося тогда под его руководством центрального комитета. Сазонов и Каляев уехали в Петербург. Я остался в Харькове ожидать Бриллиант.

Из Харькова я с Дорой Бриллиант отправился в Москву. В Москве я должен был встретиться с Азефом и Дулебовым. Увидев меня, Азеф сказал:

– «Петр» (Дулебов) уже здесь. У него с собою шесть небольших бомб македонского образца. Возьмите их у него и отдайте на хранение в несгораемый ящик в какой-нибудь банк. «Петр» живет на Маросейке, в номерах, зайдите завтра к нему.

Я зашел к Дулебову и увидел перед собою небольшого роста. Крепкого рабочего, с открытым лицом и задумчивыми глазами. Он передал мне коробку с бомбами и показал мне способ их заряжения.

В тот же день я нанял на имя Адольфа Томашевича несгораемый ящик в банкирском доме бр. Джамгаровых и отвез туда бомбы. Впоследствии квитанция от этого ящика была найдена при аресте Татьяны Леонтьевой, и полиция тщетно отыскивала нанимателя. Бомбы эти были конфискованы в мае 1903 года.

Через несколько дней мы все уехали из Москвы: Азеф по общепартийным делам на Волгу, Бриллиант, Дулебов и я – в Петербург.

Дулебов купил пролетку и лошадь и стал извозчиком, а я остановился вместе с Бриллиант в гостинице «Франция» на Морской, и прежде всего пошел отыскивать Ивановскую.

Ивановская жила на пятом этаже, в громадном доме на Обводном канале. Она снимала угол в рабочем семействе под именем, если не ошибаюсь, Дарьи Кирилловой. Подымаясь по лестнице к ней, я встретил какую-то старуху в платке. Старуха была так похожа на угловую жилицу, так все, от головного платка до сапог, было типично, что мне и в голову не пришло, что это могла быть сама Ивановская. Я остановил старуху и спросил:

– А где, тетка, здесь живет Дарья Кириллова?

– Да это я и есть, батюшка, – отвечала она.

Я все еще не верил. Выговор и слова были чисто народные. Я думал, что случайно встретил однофамилицу, или сам забыл имя. Ивановская, видя мое замешательство, улыбнулась:

– Я и есть... Она самая... Давайте скорее поговорим...

Мы тут же на лестнице условились, как нам впоследствии отыскать друг друга. В тот же день я, по объявлению из «Нового Времени», нашел меблированную квартиру.

VII

Я снял квартиру на улице Жуковского, д. № 31, кв. 1, у хозяйки-немки. Я играл роль богатого англичанина, Дора Бриллиант – бывшей певицы из «Буффа». На вопрос о моих занятиях я сказал, что я представитель большой английской велосипедной фирмы. Впоследствии поверившая вполне нам хозяйка не раз приходила в мое отсутствие к Доре и начинала ее убеждать уйти от меня на другое место, которое хозяйка ей уже подыскала. Она жалела Дору, спрашивала ее, сколько денег я положил на ее имя в банк, и удивлялась, что не видит на ней драгоценностей. Дора отвечала, что она живет со мною не из-за денег, а по любви. Такие визиты были довольно часты.

Живя в этой квартире, я близко сошелся с Бриллиант, Ивановской и Сазоновым, и узнал их. Молчаливая, скромная и застенчивая Дора жила только одним – своей верой в террор. Любя революцию, мучаясь ее неудачами, признавая необходимость убийства Плеве, она вместе с тем боялась этого убийства. Она не могла примириться с кровью, ей было легче умереть, чем убить. И все-таки ее неизменная просьба была – дать ей бомбу и позволить быть одним из метальщиков. Ключ к этой загадке, по моему мнению, заключается в том, что она, во-первых, не могла отделить себя от товарищей, взять на свою долю, как ей казалось, наиболее легкое, оставляя им наиболее трудное, и, во-вторых, в том, что она считала своим долгом переступить тот порог, где начинается непосредственное участие в деле: террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всею той жертвой, которую приносит террорист. Эта дисгармония между сознанием и чувством глубоко женственной чертой ложилась на ее характер. Вопросы программы ее не интересовали. Быть может, из своей комитетской деятельности она вышла с известной степенью разочарования. Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в боевой организации. Быть может, смерть Покотилова, ее товарища и друга, положила свою печать на ее и без того опечаленную душу.

Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал ее. Для него террор тоже, прежде всего был личной жертвой, подвигом. Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о «не убий».

Ивановская прожила свою тяжелую жизнь в тюрьмах и ссылке. На ее бледном, старческом, морщинистом лице светились ясные, добрые материнские глаза. Все члены организации были как бы ее родными детьми. Она любила всех одинаково, ровной и тихой, теплой любовью. Она не говорила ласковых слов, не утешала, не ободряла, не загадывала об успехе или неудаче, но каждый, кто был около нее, чувствовал этот неиссякаемый свет большой и нежной любви. Тихо и незаметно делала она свое конспиративное дело и делала артистически, несмотря на старость своих лет и на свои болезни. Сазонов и Дора Бриллиант были ей одинаково родными и близкими.

Конспиративная сторона нашей жизни была, по настоянию Азефа, разработана во всех ее мельчайших подробностях. Ивановская, в качестве кухарки, завела дружбу с дворничихой, и по утрам старший дворник пил у нас кофе на кухне. Сазонов был своим человеком в швейцарской. Он невольно знал все сплетни и все разговоры, которые ходили по дому. Я имел вид делового человека, Дора – певицы.

Каждый день утром я получал через швейцара почту, – большей частью, каталоги разных машин, которые я выписывал, как «представитель торговой фирмы», из Англии, Франции и Германии. Затем я уходил на «службу» – бродил по городу с надеждой встретить Плеве, и, действительно, часто встречал его. Днем барыня-Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении лакея Сазонова шла в город за покупками. Вечером я и Дора часто уезжали из дому, и прислуга, освободившись, тоже уходила гулять, – следить за Плеве.

Регулярный образ жизни и хорошие «на-чай» создали нам в доме репутацию «первых жильцов». Мы были осведомлены о всех слухах через Сазонова. Непьющий и грамотный, на хорошем жалованьи, он был завидным женихом для горничных всех квартир, был другом швейцара и на лучшем счету у старшего дворника. Таким образом, мы жили, не возбуждая ни в ком подозрений, хотя часто виделись с Мацеевским, Каляевым и Дулебовым.

В конце мая в Петербург приехал Азеф. Я встретился с ним в театре «Аквариум». Первый вопрос его был:

- Купили автомобиль?
- Нет.
- Почему?

Я опять повторил ему свои соображения. Я доказывал, что не стоит тратить несколько тысяч рублей на то, без чего мы можем легко обойтись. Он помолчал:

- А все-таки вы должны были купить.

Оказалось, что Боришанский, живший в *** с целью изучить ремесло шофера, не научился ничему. Таким образом, идея автомобиля сама собой отпадала.

Азеф вечером, незаметно от дворника и швейцара, прошел к нам в квартиру и оставался у нас, не появляясь на улице, дней десять.

Во время его пребывания у нас случился следующий эпизод.

Уже несколько дней мы замечали, что на улице Жуковского, около нашего дома, ходят филеры. Мы решили, что их привел за собой Азеф. Если бы это было так, то квартира наша была накануне ареста. Между тем в поведении дворника и швейцара не было заметно ничего подозрительного. Мы терялись в догадках, тем более, что наблюдение на улице было открытое: из наших окон мы не раз видели несколько наблюдающих за воротами нашего дома филеров. Наконец, это наблюдение разъяснилось само собой.

Однажды вечером Сазонов стоял в воротах вместе с дворником и швейцаром и, по обыкновению, слушал их сплетни о жильцах. В разговоре дворник обратился к нему.

- А твой барин чем занимается?
- Да кто его знает. Все у него на столе книжки с машинами.
- Инженер, что ли?
- Каталоги, значит. Ну, значит, от фирмы какой.

В это время к воротам подъехал извозчик. С извозчика сошел адвокат В.В.Беренштам. Он прошел во двор, и вслед за ним в ворота юркнул филер. К нему подбежал швейцар и дворник. Сазонов тоже хотел подойти, но швейцар замахал на него руками.

Не было сомнения, Беренштам привел за собой филеров. Но это еще не значило, что предшествовавшее наблюдение было не за нашей квартирой. Вскоре, однако, выяснилась его причина: на одной лестнице с нами, дверь в дверь по черному ходу, жил адвокат Трандафилов. К нему и ходил Беренштам. Прислуга Трандафилова рассказала Сазонову, что у барина «книжки», и ходят к нему «студенты». Очевидно, следили не за нами, а за Трандафиловым. Об этом мы дали знать петербургскому комитету, но был ли предупрежден Трандафилов, – мне неизвестно.

Между тем, наше наблюдение шло своим путем. Мацеевский, Дулебов и Каляев постоянно встречали на улице Плеве. Они до тонкости изучили внешний вид его выездов и могли отличить его карету за сто шагов. Особенно много сведений было у Каляева. Он жил в углу,

на краю города, в комнате, где, кроме него, ютилось еще пять человек, и вел образ жизни, до тонкости совпадающий с образом жизни таких же, как и он, торговцев в разнос. Он не позволял себе ни малейших отклонений: вставал в шесть часов и был на улице с восьми утра до поздней ночи. У хозяев он скоро приобрел репутацию набожного, трезвого и деловитого человека. Им, конечно, и в голову не приходило заподозрить в нем революционера. Плеве жил тогда на даче, на Аптекарском острове, и по четвергам выезжал с утренним поездом к царю, в Царское Село. Главное внимание при наблюдении и было сосредоточено на этой его поездке и еще на поездке в Мариинский дворец, на заседания комитета министров, куда Плеве ездил по вторникам. Все члены организации, т.е. Мацеевский, Каляев, Дулебов, вновь приехавший Боришанский и очень часто кто-либо из нас, – Дора, Ивановская, Сазонов или я, – наблюдали в эти дни. Но Каляев не ограничивался только этим совместным и планомерным наблюдением: у него была своя теория выездов Плеве, и ежедневно, выходя торговать на улицу, он ставил себе задачу встретить карету министра. По мельчайшим признакам на улице: по количеству охраны, по внешнему виду наружной полиции – приставов и околоточных надзирателей, – по тому напряженному ожиданию, которое чувствовалось при приближении министерской кареты, Каляев безошибочно заключал, проехал ли Плеве по этой улице, или еще проедет. С лотком за плечами, на котором часто менялся товар, – папиросы, яблоки, почтовая бумага, карандаши, – Каляев бродил по всем улицам, где, по его мнению, мог ездить Плеве. Редкий день проходил без того, чтобы он не встретил его карету. Описывая ее, он давал не только самое точное описание масти и примет лошадей, наружности кучера и чинов охраны, но и деталей самой кареты. В его устах детали эти принимали характер выпуклых признаков. Он знал не только высоту и ширину кареты, ее цвет и цвет ее колес, но и подробно описывал подножку, ручку дверец, вожжи, фонари, козлы, оси, оконные стекла. Когда царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить вместо Царскосельского вокзала на Балтийский, Каляев первый установил его маршрут и отклонения от этого маршрута. Кроме того, он знал в лицо министерских филеров и безошибочно отличал их в уличной толпе.

Дулебов и Мацеевский, как извозчики, не могли давать таких подробных сведений. Они не могли всегда отказывать седокам, и им часто приходилось отъезжать с поста наблюдения или по требованию полиции, или по желанию седоков. Но они оба дополнили, проверили и развили наблюдения Каляева, так что те сведения, которые могли случайно прибавить остальные члены организации, т.е. Сазонов, Ивановская, Бриллиант, Боришанский и я, имели только второстепенное значение. В общем, систематическое наблюдение привело нас к уверенности, что легче всего убить Плеве в четверг, по дороге с Аптекарского острова на Царскосельский вокзал.

Был июнь во второй половине. Азеф, убедившись, что работа у нас идет хорошо, уехал из Петербурга. Царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить по четвергам уже не на Царскосельский вокзал, а на Балтийский. Наблюдение назрело окончательно, и было ясно, что мы должны скоро приступить к покушению. Сазонову нужно было съездить на родину, и мы «разочли» его. Для расчета был придуман следующий способ.

Я случайно разбил у себя зеркало. Сазонов пошел в швейцарскую и стал громко жаловаться на свою судьбу.

– Вот, только устроился... шабаш... прогоняют... места лишился.

– За что?

– Зеркало разбил.

Швейцар удивился.

– Неужто за зеркало? Ну?

Сазонов закрыл руками лицо:

– Да что... Разбил я это зеркало, комнату прибирал... Барыня услышала, как крикнет: ты, говорит, сукин сын, зеркало разбил, дрянь...

– Ну, а ты что же?

– Я-то? Я ей говорю: от такой же, говорю, слышу.

Швейцар всплеснул руками:

– Ах, ты!.. Барыне так и сказал. От такой же, сказал, слышу... Ловко... Как же ты осмелел... Ну, а дальше что было?

– А дальше барыня ну визжать... Прибежал барин, ни слова не говоря, хватъ и в дверь выкинул...

– Ни слова не говоря, говоришь?

– Ни слова не говоря...

Швейцар задумался.

– Ну, плохо твое дело... Однако, все-таки иди, – прощенья проси. Авось простят.

– Не простят: барыня злющая.

– А ты все-таки иди, попробуй.

Мы, конечно, не простили Сазонова, и он в тот же день выехал со двора. Вслед за ним уехал и я в Москву. На квартире остались Дора Бриллиант и Ивановская. В Москву же должны были приехать Каляев и Швейцар. Там предполагалось обсудить в подробностях план покушения.

К этому времени все члены организации не только близко перезнакомились между собою, но многие и интимно сошлись. Была крепкая спайка прошлого – неудача 18 марта и смерть Покотилова. Эта спайка связала и новых членов организации, и уже давно стерлась грань между старшими и младшими, рабочими и интеллигентами. Было одно братство, жившее одной и той же мыслью, одним и тем же желанием. Сазонов был прав, определяя впоследствии, в одном из писем ко мне с каторги, нашу организацию такими словами: «Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство было проникнуто таким духом, что слово „брат“ еще недостаточно ярко выражает сущность наших отношений».

Эта братская связь чувствовалась нами всеми и вселяла уверенность в неизбежной победе.

VIII

Швейцар опоздал в Москву, и московские совещания прошли без него. Происходили они обыкновенно в Сокольничьем парке, и на них присутствовали: с решающим голосом – Азеф и, кроме того, Каляев, Сазонов и я. Обсуждался подробный план покушения.

Наученные опытом 18 марта, мы склонны были преувеличивать трудности убийства Плеве. Мы решили принять все меры, чтобы он, попав однажды в наше кольцо, не мог из него выйти. Всех метальщиков было четверо. Первый, встретив министра, должен был пропустить его мимо себя, заградив ему дорогу обратно на дачу. Второй должен был сыграть наиболее видную роль: ему принадлежала честь первого нападения. Третий должен был бросить свою бомбу только в случае неудачи второго, – если бы Плеве был ранен, или бомба второго не разорвалась. Четвертый, резервный метальщик должен был действовать в крайнем случае: если бы Плеве, прорвавшись через бомбы второго и третьего, все-таки проехал бы вперед, по направлению к вокзалу. Способ самого действия бомбой был тоже предметом подробного обсуждения. Был, конечно, неустрашимый риск, что метальщик промахнется, перебросит или не добросит снаряд. Во время этого обсуждения Каляев, до тех пор молчавший и слушавший Азефа, вдруг сказал:

– Есть способ не промахнуться.

– Какой?

– Броситься под ноги лошадям.

Азеф внимательно посмотрел на него.

– Как броситься под ноги лошадям?

– Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба, и тогда остановка, или, если бомба не разорвется, лошади испугаются, – значит, опять остановка. Тогда уже дело второго метальщика.

Все помолчали. Наконец, Азеф сказал:

– Но ведь вас наверно взорвет.

– Конечно.

План Каляева был смел и самоотвержен. Он, действительно, гарантировал удачу. Но Азеф, подумав, сказал:

– План хорош, но я думаю, что он не нужен. Если можно добежать до лошадей, значит, можно добежать и до кареты, – значит, можно бросить бомбу и под карету или в окно. Тогда, пожалуй, справится и один.

На таком решении Азеф и остановился. Было решено также, что Каляев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метальщиков.

– После одного из этих совещаний я пошел гулять с Сазоновым по Москве. Мы долго бродили по городу и, наконец, присели на скамейке у храма Христа Спасителя, в сквере. Был солнечный день, блестели на солнце церкви. Мы долго молчали. Наконец, я сказал:

– Вот, вы пойдете и наверно не вернетесь...

Сазонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и открытое.

– Скажите, – продолжал я, – как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

Он, не задумываясь, ответил:

– Гордость и радость.

– Только?

– Конечно, только.

И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги: «Сознание греха никогда не покидало меня». К гордости и радости применилось еще другое, нам тогда неизвестное чувство.

Из Москвы Азеф и Сазонов уехали на Волгу, а я и Каляев вернулись в Петербург. На Николаевском вокзале, перед самым отходом поезда, на перроне, я заметил широкую, мускулистую фигуру Швейцера. Я окликнул его. Через минуту он вошел ко мне в вагон, положил в сетку свой багаж, и мы вышли с ним в коридор.

– Как дела?

Я рассказал, что наблюдение закончено, и передал решение московского совещания. Он сдержанно улыбнулся:

– Ну, и у меня все готово.

– Вы привезли динамит?

– Больше пуда.

– Где же он?

Он кивнул на вагон.

– В сетке?

– Да, в сетке. Если взорвет, – не услышим: нас с вами первых взорвет.

Он был, как всегда, очень сдержан и говорил мало. Но было видно, что он рад и тому, что так скоро и хорошо исполнил свою трудную задачу, и тому, что наблюдение закончено, и тому, что мы, наконец, приступаем к покушению.

По приезде в Петербург, я не вернулся на нашу квартиру, а поселился в Сестрорецке по паспорту Константина Чернецкого. На 8 июля было назначено покушение. Необходимо было еще раз проверить поездку Плеве к царю и условиться между собою о многочисленных мелочах.

В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант. Мы ушли с нею в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась смущенной и долго молчала, глядя прямо перед собою своими черными опечаленными глазами.

– Веньямин!

– Что?

– Я хотела вот что сказать...

Она остановилась, как бы не решаясь окончить фразу.

– Я хотела... Я хотела еще раз просить, чтоб мне дали бомбу.

– Вам? Бомбу?

– Я тоже хочу участвовать в покушении.

– Послушайте, Дора...

– Нет, не говорите... Я так хочу... Я должна умереть.

Я старался ее успокоить, старался доказать ей, что в ее участии нет нужды, что мужчина справится с задачей метания бомбы лучше, чем она, наконец, что если бы ее участие было необходимо, то – я уверен – товарищи обратились бы к ней. Но она настойчиво просила передать ее просьбу Азефу, и я должен был согласиться.

Вскоре приехали Сазонов и Азеф, и мы опять собрались вечером на совещание.

На этот раз Каляева не было, зато присутствовал Швейцер. Я передал товарищам просьбу Бриллиант.

Наступило молчание. Наконец, Азеф медленно и, как всегда, по внешности равнодушно, сказал:

– Егор, как ваше мнение?

Сазонов покраснел, смешался, развел руками, подумал и сказал нерешительно:

– Дора такой человек, что если пойдет, то сделает хорошо... Что же я могу иметь против?

Но... Тут голос его осекся.

– Договаривайте, – сказал Азеф.

– Нет, ничего... Что я могу иметь против?

Тогда заговорил Швейцер. Спокойно, отчетливо и уверенно он сказал, что Дора, по его мнению, вполне подходящий человек для покушения, и что он не только ничего не имеет против ее участия, но, не колеблясь, дал бы ей бомбу.

Азеф посмотрел на меня.

– А вы, Веньямин?

Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен.

Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может. Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать.

Азеф, задумавшись, молчал. Наконец, он поднял голову.

– Я не согласен с вами... По-моему, нет оснований отказать Доре... Но, если вы так хотите... Пусть будет так.

Тогда же было решено, что первым метальщиком будет Боришанский, вторым – Сазонов, третьим – Каляев и четвертым – Сикорский, молодой рабочий-кожевник из Белостока, еще не член нашей организации, но хорошо известный Боришанскому. Он давно, как особенной чести, просил дозволить ему участвовать в покушении на Плеве.

Азеф снова уехал, назначив после покушения свидание в Вильно. Квартира на улице Жуковского была окончательно ликвидирована.

Ивановская уехала к Азефу, Бриллиант, несмотря на свои протесты, – в Харьков. В Петербурге остались только оба извозчика – Мацевский и Дулебов, Швейцер, я и метальщики – Сазонов и Каляев. Последние тоже должны были уехать и вернуться в Петербург только 8

июля. За несколько дней до их отъезда я назначил свидание Каляеву на Смоленском кладбище. Он пришел туда еще в своем платье папиросника: в рубашке, картузе и высоких сапогах. Мы оба были уверены, что говорим в последний раз: Каляев не сомневался, что и ему, как Сазонову, придется бросить снаряд.

Мы сидели на чьей-то заросшей мохом могиле. Он говорил своим звучным голосом с польским акцентом:

– Ну слава богу: вот и конец... Меня огорчает одно, – почему не мне, а Егору первое место... Неужели Валентин думает, что я не справился бы один?

Я сказал ему, что второе место не менее, если не более, ответственно, чем первое, и что требуется большая отвага и хладнокровие, чтобы оценить после взрыва момент и решить, нужно ли бросать свою бомбу или нет. Он неохотно слушал меня.

– Да, конечно... А все-таки... Как ты думаешь, будет удача?

Он вдруг повернулся он всем телом ко мне.

– Конечно, будет.

– Я тоже уверен, будет.

Он молчал.

– А нелегко папиросником... Вот NN* (Речь шла о товарище, недолго пробывшем в нашей организации) не выдержал, и не удивительно... Только знаешь, нужно к нам принимать людей таких, которые могут все... Вот, как Егор...

Он с любовью заговорил о Сазонове.

– Ты знаешь, я таких людей, как он, еще не видал... Такой любви в сердце, такой отваги, такой силы душевной... А Покотилов, а Алексей...

Он опять помолчал:

– Вот не дожил Алексей... Послушай, какое счастье, если будет удача... Довольно им царствовать... Довольно... Если бы ты знал, как я ненавижу их... Но что Плеве! Нужно убить царя...

Дня за три до 8 июля в Петербург приехал Лейба Вульфович Сикорский или, как мы называли его, Леон. Сикорскому было всего 20 лет, он плохо говорил по-русски и, видимо, с трудом ориентировался в Петербурге. Боришанский, как нянька, ходил за ним, покупал ему морской плащ, под которым удобно было скрыть бомбу, давал советы и указания. Но Сикорский все-таки робел и, увидев впервые меня, покраснел, как кумач:

– Это очень большая для меня честь, – сказал он, – что я в большой организации, и что Плеве... Я очень давно хотел этого.

Он замолчал. Молчал и Боришанский, с улыбкой глядя на него и как бы гордясь своим учеником. Сикорскому нужны были деньги на покупку плаща и платья. Я дал ему сто рублей.

– Вот, купите костюм.

Он покраснел еще гуще.

– Сто рублей! Я никогда не имел в руках столько денег...

Мне он показался твердым и мужественным юношей. Я опасался одного: его незнакомство с городом и дурной русский язык могли поставить его в затруднительное положение.

Было решено, что в случае Неудачи, все метальщики, оставшиеся в живых, отдадут свои бомбы Швейцеру, который их разрядит и сохранит; в случае же удачи, каждый должен был утопить свою бомбу. Решение это было принято потому, что как раздача, так и обратное собиранье бомб Швейцером было сопряжено с риском, и с еще большим риском было сопряжено разряжение снарядов. Каждый метальщик получил точную инструкцию, где топить свою бомбу. Каляев должен был ее бросить в пруды по Петергофскому шоссе, Боришанский – тоже в пруды, если не ошибаюсь, в деревне Волынкиной, Сикорский – в Неву, взяв лодку без лодочника в Петровском парке и выехав с нею на взморье. Я просил Боришанского специально показать ему Петровский парк, и он показал.

IX

Утром, 8 июля, приехали Каляев и Сазонов. Сазонов был одет в фуражку и тужурку железнодорожного служащего. В этот час утра по Измайловскому проспекту с Варшавского и Балтийского вокзалов возвращалось всегда много кондукторов и железнодорожных чиновников. Таким образом, железнодорожная форма устраняла риск случайного ареста: филеры, очевидно, не могли обратить внимания на слившегося с толпой Сазонова. Каляев был в шапке швейцара с золотым галуном. Боришанский и Сикорский прятали бомбы в плащах.

Всю ночь Швейцер, живший в Гранд-Отеле по паспорту великобританского подданного, готовил бомбы. Рано утром к его гостинице подъехал Дулебов, и Швейцер, выйдя с небольшим чемоданом в руках, сел в его пролетку. Они поехали на Ново-Петергофский проспект – место свидания с Сазоновым. Я тоже ждал там Сазонова. Но опоздал ли Сазонов, или забыл в точности явку, – его не было на условленном месте. Каляев ждал на Рижском проспекте, и еще дальше, на Курляндской улице, вдвоем, ожидали Сикорский и Боришанский. Так как поезд отходил ровно в десять часов утра, и Плеве никогда не опаздывал к царю, то передача снарядов была рассчитана по минутам, и опоздание одного из метальщиков затрудняло весь ход передачи и даже могло совсем уничтожить возможность покушения. Я с нетерпением ходил взад и вперед по Ново-Петергофскому проспекту, но Сазонова не было. Я взглянул на часы, – нельзя было терять ни минуты. В это время, аккуратно в условленный час, показался Швейцер на пролетке Дулебова. Я сказал ему, что нет времени ждать Сазонова, и предложил сначала найти Каляева и передать ему его бомбу, и тогда уже вернуться на Ново-Петергофский проспект. Я надеялся, что Сазонов успеет еще получить свой снаряд.

Швейцер сделал именно так, как я сказал, и от Каляева вернулся ко мне, но Сазонова все еще не было. Тогда Швейцер поехал к Боришанскому и Сикорскому, но, как оказалось, они, не дождавшись его, ушли. Таким образом, бомбу получил один только Каляев.

Когда я, наконец, встретил Сазонова и сообщил ему, что Швейцер уже уехал, и что покушение, значит, не удалось, я испугался: до такой степени изменилось его лицо. Он побледнел и молча, опустив голову, пошел от меня. Я догнал его при выходе на Измайловский проспект, и в ту же минуту мимо нас крупной рысью пронеслась карета Плеве. Мелькнули хорошо знакомые вороные кони, лакей на козлах и сыщик-велосипедист у заднего колеса. Сазонов все еще не говорил ни слова. Так шли мы с ним молча и по дороге наткнулись на Каляева. В фуражке швейцара, тоже бледный, со встревоженным лицом, он нес свою бомбу. Он один был вовремя на своем месте с бомбой в руках и один встретил Плеве. Но он не посмел бросить бомбу в карету: он бы пошел против решения организации. Кроме того, его неудачное покушение задержало бы надолго убийство Плеве. Вся организация одобрила этот его поступок.

Я назначил Сазонову вечером свидание в Зоологическом саду и пошел отыскивать Боришанского и Сикорского. Эта новая неудача не поразила нас так, как неудавшееся покушение 18 марта. Я видел, что мы выбрали время и место верно: Плеве проехал в назначенный час по Измайловскому проспекту; видел также, что его не трудно, встретив, убить, ибо будь у меня и у Сазонова в руках бомбы, мы легко могли бы подбежать к карете; видел еще, что неудача произошла просто из-за путаницы, почти неизбежной при мобилизации в очень короткий срок такого числа метальщиков. Мне ясно было, что через неделю мы не повторим нашей ошибки, а, значит, Плеве будет убит.

Я разыскал Сикорского и Боришанского. Каляев отдал свою бомбу Швейцеру, и Швейцер разрядил ее, как и три переданные им бомбы. Вечером мы все, кроме извозчиков и Швейцера, собрались в Зоологическом саду.

Сазонов был подавлен. Он считал себя главным виновником неудачи и молчал. Молчали и остальные. Всем было больно касаться того, что было утром, и никто не смел говорить об этом вслух. Наконец, Боришанский прервал молчание.

– У нас нет ни одного человека с бородой. Неудивительно, что все неудачи.

– Что вы хотите этим сказать?

Боришанский невозмутимо ответил:

– Я говорю: все молодые люди. Не умеем делать дела.

Сазонов вспыхнул, но промолчал. По его лицу было видно, что он жестоко страдает и от своей, якобы, вины, и от горьких слов Боришанского. Сикорский краснел и тоже молчал. Но Каляев не выдержал:

– А кто виноват?

– Кто? Разве я знаю кто?

– Вы. Вы и виноваты. Если бы вы с Леоном не ушли, дождались бы Павла, то не я один получил бы снаряд, а было бы нас трое, и тогда бы мы и без Якова (Сазонова) могли убить Плева.

Боришанский пожал плечами:

– Я не мог дольше ждать. Я ждал, сколько мне было сказано.

– Зачем опоздал Павел?

Каляев начал горячиться. Невозмутимость Боришанского, видимо, раздражала его. Всем было тяжело, и этой тяжести не было выхода.

Мы тут же условились, что Сазонов, Каляев, Боришанский и Сикорский поедут в Вильно к Азефу и расскажут ему о происшедшем, а также и о том, что мы повторим покушение в будущий четверг, 15 июля; я же и Швейцер останемся в Петербурге.

Мы сговорились о всех подробностях на 15 июля, и товарищи уехали в Вильно. Азеф ободрил Сазонова, но и до последней минуты Сазонов все продолжал считать себя виновником этой неудачи, хотя если и ложится на него вина, то, конечно, не в большей мере, чем на любого из нас. Как оказалось впоследствии, он был в условном месте точно в назначенное время и если не встретил меня, то только потому, что мы, ожидая между Десятой и Двенадцатой ротами, выходящими на Ново-Петергофский проспект, оба не доходили до конечных их углов и, таким образом, и не могли встретиться. Кроме того, Каляев был прав. Если он не посмел один, без разрешения организации, выступить против Плева, то втроем – он, Боришанский и Сикорский – могли это сделать. Значит, часть вины падает еще и на двух последних, не дождавшихся Швейцера.

Неделю между 8 и 15 июля я прожил в Сестрорецке, изредка встречаясь с Мацеевским и Дулебовым. Оба они тоже были подавлены неудачей, но оба твердо верили в успех 15 июля. Дулебов, приятель и товарищ Сазонова еще по Уфе, несмотря на свои молодые годы, – ему было всего 20 лет, – производил впечатление чрезвычайно крепкого душой человека. Своей молчаливостью он напоминал Боришанского, своим уверенным и спокойным голосом – Швейцера, а своим открытым и смелым взглядом – Сазонова. Но в его улыбке было что-то свое, привлекательное и нежное. За его внешнею угрюмостью чувствовалось большое и любящее сердце.

Вечером, 14 июля, мы встретились со Швейцером в театре «Буфф». В эту ночь ему предстояла работа, – снова зарядить все четыре бомбы, – три по шесть фунтов и одну в двенадцать.

Такую большую бомбу решено было сделать потому, что изготовленный Швейцером из русского материала динамит значительно уступал в силе заграничному. Швейцер был, как всегда, очень спокоен, но против обыкновения спросил бутылку вина.

– Я боюсь за Сикорского, – сказал он, взглядывая на сцену.

– Чего вы боитесь?

– Я боюсь, что он не сумеет утопить свою бомбу.

– Как же быть?

Швейцер пожал плечами.

– По-моему – никак.

– А если его арестуют?

– Что же делать?.. Не можем же мы из-за него одного рисковать многими!

Мне не трудно разрядить бомбы, но, значит, опять для передачи их вводить извозчиков, да и вообще, если будет успех, по-моему, оставшиеся метальщики должны сейчас же уехать из Петербурга, а не ждать передачи.

Швейцер говорил спокойно и твердо, и то, что он говорил, было справедливо: невозможно было из-за Сикорского ставить опять всю организацию под риск.

Прощаясь, он спросил:

– А Сикорский знает, где топить?

Я сказал, что не только знает, но я даже просил Боришанского показать ему место.

Тогда Швейцер уверенно сказал:

– Ну, значит, – утопит.

У ворот сада он вдруг обернулся ко мне:

– А вы верите в удачу?

– Конечно.

– А я знаю: завтра Плеве будет убит.

– Знаете?

– Знаю.

И он, смеясь, протянул мне руку.

– Прощайте. Завтра в девять утра.

Х

15 июля, между 8 и 9 часами утра, я встретил на Николаевском вокзале Сазонова и на Варшавском – Каляева. Они были одеты так же, как и неделю назад: Сазонов – железнодорожным служащим, Каляев – швейцаром. Со следующим поездом с того же Варшавского вокзала приехали из Двинска, где они жили последние дни, Боришанский и Сикорский. Пока я встречал товарищей, Дулебов у себя на дворе запряг лошадь и приехал к Северной гостинице, где жил тогда Швейцер. Швейцер сел в его пролетку и к началу десятого часа роздал бомбы в установленном месте – на Офицерской и Торговой улицах за Мариинским театром. Самая большая двенадцатифунтовая бомба предназначалась Сазонову. Она была цилиндрической формы, завернута в газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба Каляева была обернута в платок. Каляев и Сазонов не скрывали своих снарядов. Они несли их открыто в руках. Боришанский и Сикорский спрятали свои бомбы под плащи.

Передача на этот раз прошла в образцовом порядке. Швейцер уехал домой, Дулебов стал у технологического института по Загородному проспекту. Здесь он должен был ожидать меня, чтобы узнать о результатах покушения. Мацеевский стоял со своей пролеткой на Обводном канале. Остальные, т.е. Сазонов, Каляев, Боришанский, Сикорский и я собрались у церкви Покрова на Садовой. Отсюда метальщики один за другим, в условном порядке, – первым Боришанский, вторым Сазонов, третьим Каляев и четвертым Сикорский, – должны были пройти по Английскому проспекту и Дровяной улице к Обводному каналу и, повернув по Обводному каналу мимо Балтийского и Варшавского вокзалов, выйти навстречу Плеве на Измайловский проспект. Время было рассчитано так, что при средней ходьбе они должны были встретить Плеве по Измайловскому проспекту от Обводного канала до 1-й роты. Шли они на расстоянии сорока шагов один от другого. Этим устранялась опасность детонации от взрыва. Боришан-

ский должен был пропустить Плеве мимо себя и затем загородить ему дорогу обратно на дачу. Сазонов должен был бросить первую бомбу.

Был ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покровской церкви, то увидел такую картину. Сазонов, сидя на лавочке, подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, как и где утопить бомбу. Сазонов был спокоен и, казалось, совсем забыл о себе. Сикорский слушал его внимательно. В отдалении, на лавочке, с невозмутимым по обыкновению лицом, сидел Боришанский, еще дальше, у ворот церкви, стоял Каляев и, сняв фуражку, крестился на образ.

Я подошел к нему:

– Янек!

Он обернулся, крестясь:

– Пора?

Я посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого.

– Конечно, пора. Иди.

С дальней скамьи лениво встал Боришанский. Он, не спеша, пошел к Петергофскому проспекту. За ним поднялись Сазонов и Сикорский. Сазонов улыбнулся, пожал руку Сикорскому и быстрым шагом, высоко подняв голову, пошел за Боришанским. Каляев все еще не двигался с места.

– Янек!

– Ну, что?

– Иди.

Он поцеловал меня и торопливо, своей легкой и красивой походкой, стал догонять Сазонова. За ними медленно пошел Сикорский. Я проводил их глазами. На солнце блестели форменные пуговицы Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке между плечом и локтем. Было видно, что ему тяжело нести.

Я повернул назад по Садовой и вышел по Вознесенскому на Измайловский проспект с таким расчетом, чтобы встретить метальщиков на том же промежутке между Первой ротой и Обводным каналом. Уже по внешнему виду улицы я догадался, что Плеве сейчас проедет. Пристава и городовые имели подтянутый и напряженно выжидающий вид. Кое-где на углах стояли филеры.

Когда я подошел к Седьмой роте Измайловского полка, я увидел, как городской на углу вытянулся во фронт. В тот же момент, на мосту через Обводный канал, я заметил Сазонова. Он шел, как и раньше, – высоко подняв голову и держа у плеча снаряд. И сейчас же сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороньими конями. Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик, как оказалось впоследствии, агент охранного отделения Фридрих Гартман. Сзади ехало еще двое сыщиков в собственной, запряженной вороньим рысаком, пролетке. Я узнал выезд Плеве.

Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно Варшавской гостинице. Эти несколько секунд оказались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задрезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки.

В первую секунду у меня захватило дыхание. Но я ждал взрыва и, поэтому, скорей других пришел в себя. Я побежал наискось через улицу к Варшавской гостинице. Уже на бегу я слышал чей-то испуганный голос: – «Не бегите: будет взрыв еще...»

Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. Пахло гарью. Прямо передо мной, шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой я увидел Сазонова. Он полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и склонив голову на правый бок. Фуражка слетела у него с головы, и его темно-каштановые кудри упали на лоб. Лицо было бледно, кое-где по лбу и щекам текли струйки крови. Глаза были мутны и полузакрыты. Ниже у живота начиналось темное кровавое пятно, которое, расплываясь, образовало большую багряную лужу у его ног.

Я наклонился над ним и долго всматривался в его лицо. Вдруг в голове мелькнула мысль, что он убит, и тотчас же сзади себя я услышал чей-то голос:

– А министр? Министр, говорят, проехал.

Тогда я решил, что Плеве жив, а Сазонов убит. Я все еще стоял над Сазоновым. Ко мне подошел бледный, с трясущейся челюстью, полицейский офицер (как я узнал потом, лично мне знакомый пристав Перепелицын). Слабо махая руками в белых перчатках, он растерянно и быстро заговорил:

– Уходите... Господин, уходите...

Я повернулся и пошел прямо по мостовой по направлению к Варшавскому вокзалу. Уходя, я не заметил, что в нескольких шагах от Сазонова лежал изуродованный труп Плеве и валялись обломки кареты. Навстречу мне с Обводного канала бежал народ: толпа каменщиков в пыльных кирпичной пылью фартуках. Они что-то кричали. По тротуарам тоже бежали толпы народа. Я шел наперерез этой толпе и помнил одно:

– Плеве жив. Сазонов убит.

Я долго бродил по городу, пока машинально не вышел к технологическому институту. Там все еще ждал меня Дулебов. Я сел в его пролетку.

– Ну, что? – обернулся он ко мне.

– Плеве жив...

– А Егор?

– Убит.

У Дулебова странно перекошились глаза, и вдруг запрыгали щеки. Но он ничего не сказал. Минут через пять он снова обернулся ко мне:

– Что теперь?

– На обратном пути в четыре часа.

Он кивнул головой. Тогда я сказал:

– В три часа я передам вам снаряд. Будьте опять у технологического института.

Протившись с ним, я пошел в Юсупов сад, где, в случае неудачного покушения, должны были собраться оставшиеся в живых метальщики. Я надеялся, что не все они арестованы и что бомбы их целы. Я хотел устроить второе покушение на Плеве на его обратном пути из Петергофа на дачу. Нам было известно, что он обычно возвращается от царя между 3 и 4 часами. Метальщиками должны были быть Дулебов, я и те, кто остался в живых.

В Юсуповом саду я не нашел никого.

Каляев шел за Сазоновым все время, сохраняя дистанцию в сорок шагов. Когда Сазонов вошел на мост через Обводный канал, Каляев увидел, как он вдруг ускорил шаги. Каляев понял, что он заметил карету. Когда Плеве поровнялся с Сазоновым, Каляев был уже на мосту и с вершины видел взрыв, видел, как разорвалась карета. Он остановился в нерешительности. Было неизвестно, убит Плеве или нет, нужно бросать вторую бомбу или она уже лишняя. Когда он так стоял на мосту, мимо него промчались, волоча обломки колес, окровавленные лошади. Побежали толпы народа. Видя, что от кареты остались одни колеса, он понял, что Плеве убит. Он повернул к Варшавскому вокзалу и медленно пошел по направлению к Сикорскому. По дороге его остановил какой-то дворник.

– Что там такое?

– Не знаю.

Дворник посмотрел подозрительно.

– Чай, отсюда идешь?

– Ну, да, отсюда.

– Так как же не знаешь?

– Откуда знать? Говорят, пушку везли, разорвало...

Каляев утопил в прудах свою бомбу и, по условию, с 12-часовым поездом выехал из Петербурга в Киев.

Боришанский слышал взрыв позади себя, осколки стекла посыпались ему на голову. Боришанский, убедившись, что Плеве обратно не едет, так же, как и Каляев, утопил свой снаряд и уехал из Петербурга.

Сикорский, как мы и могли ожидать, не справился со своей задачей. Вместо того, чтобы пойти в Петровский парк и там, взяв лодку без лодочника, выехать на взморье, он взял у горного института ялик для переправы через Неву и, на глазах яличника, недалеко от строящегося броненосца «Слава», бросил свою бомбу в воду. Яличник, заметив это, спросил, что он бросает. Сикорский, не отвечая, предложил ему 10 рублей. Тогда яличник отвел его в полицию.

Бомбу Сикорского долго не могли найти, и его участие в убийстве Плеве осталось недоказанным, пока, наконец, уже осенью рабочие рыбопромышленника Колотилина не вытащили случайно неводом эту бомбу и не представили ее в контору Балтийского завода.

Не застав никого в Юсуповом саду, я пошел в бани на Казачьем переулке, спросил себе номер и лег на диван. Так пролежал я до двух часов, когда, по моим расчетам, наступило время отыскивать Швейцера, приготовиться ко второму покушению на Плеве. Выходя на Невский, я машинально купил у газетчика последнюю телеграмму, думая, что она с театра военных действий. На видном месте был отпечатан в траурной рамке портрет Плеве и его некролог.

В начале одиннадцатого часа раненый Сазонов был перенесен в Александровскую больницу для чернорабочих, где в присутствии министра юстиции Муравьева ему была сделана операция. На допросе он, согласно правилам боевой организации, отказался назвать свое имя и дать какие бы то ни было показания.

Из тюрьмы он прислал нам следующее письмо:

«Когда меня арестовали, то лицо представляло сплошной кровоподтек, глаза вышли из орбит, был ранен в правый бок почти смертельно, на левой ноге оторваны два пальца и раздроблена ступня. Агенты, под видом докторов, будили меня, приводили в возбужденное состояние, рассказывали ужасы о взрыве. Всячески клеветали на „еврейчика“ Сикорского... Это было для меня пыткой!

Враг бесконечно подл, и опасно отдаваться ему в руки раненым. Прошу это передать на волю. Прощайте, дорогие товарищи. Привет восходящему солнцу – свободе!

Дорогие братья-товарищи! Моя драма закончилась. Не знаю, до конца ли верно выдержал я свою роль, за доверие которой мне я приношу вам мою величайшую благодарность. Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире не сравнимо. Это удовлетворение заглушало во мне страдания, которые пришлось перенести мне после взрыва. Едва я пришел в себя после операции, я облегченно вздохнул. Наконец-то, кончено. Я готов был петь и кричать от восторга. Когда взрыв произошел, я потерял сознание. Придя в себя и не зная, насколько серьезно я ранен, я хотел самоубийством избавиться от плена, но моя рука была не в силах достать револьвер. Я попал в плен. В течение нескольких дней у меня был бред, три недели с моих глаз не снимали повязки, два месяца я не мог двигаться на постели, и меня, как ребенка, кормили из чужих рук. Моим беспомощным состоянием, конечно, воспользовалась полиция. Агенты подслушали мой бред: они под видом докторов и фельдшеров внезапно будили меня, лишь только я засыпал. Начинали рассказывать мне ужасы о событии на Из. пр. («Измайловский проспект»), приводили меня в возбужденное состояние... Всячески старались уверить меня, что С. (Сикорский) выдает. Говорили, что он

сказал, будто с кем-то (с какой-то бабушкой) виделся в Вильно за несколько дней до 15 июля, говорили, что взят еще еврей в английском пальто, которого будто С. назвал товарищем по Белостоку. К счастью, агентам не удалось попользоваться на счет моей болезни. Я, кажется, все помню, о чем говорил я в бреде, но это не важно, если примете меры. Одну глупость, одно преступление я допустил. Не понимаю, как я мог назвать свою фамилию уже через три недели молчания... Товарищи! Будьте ко мне снисходительны, я без того чувствую себя убитым. Если бы вы знали, какую смертельную муку я испытывал и сейчас испытываю, зная, что я бредил. И я был не в силах помочь себе. Чем? Откусить себе язык, но и для этого нужна была сила, а я ослабел... Уже моим желанием было – или поскорее умереть, или скорее выздороветь. Еще, братья-товарищи, меня беспокоит мысль, не согрешил ли я как-нибудь в своих разъяснениях задач партии. Вы же знаете, что во взгляде на террор я – народоволец, и расхожусь с партийной программой. И вот, когда настала пора объясняться с судом, я почувствовал, что нахожусь в ложном положении. Личные взгляды в сторону, надо было говорить о программе. Не согрешил ли я против партии? Если так, то прошу у партии прощения. Пусть она публично заявит, что я ошибся, и что она не ответственна за слова каждого члена, тем более больного, как я. Я еще не совсем оправился после взрыва. Очень расшибло голову... Вот и все, что тяготят мою совесть, исповедываться в чем перед вами, дорогие товарищи, мне все время хотелось. Если я, единица, в чем провинился против общего дела, мой факт остается, и пусть он сам говорит за себя: сознательно я его умалял.

Приветствую новое течение, которое пробивает себе путь к жизни во взгляде на террор. Пусть мы до конца будем народовольцами... Я совсем не ждал, что со мною не покончат. И моему приговору я не радуюсь: что за радость быть пленником русского правительства? Будем верить, что ненадолго. На мой приговор я смотрю, как на приговор над судьями, осудившими на смерть Степана, Григория Андреевича и других... – Дорогие братья-товарищи! Крепко обнимаю вас всех и крепко целую. Эта писулька только для вас, моих ближайших товарищей, поэтому прошу ее не публиковать. Моим прощальным приветом, с которым я обращаюсь к вам, да будут слова, которые я крикнул сейчас же, как увидел нашего поверженного врага, и когда думал – сам умираю: «Да здравствует Б.О.(боевая организация – Ред.), долой самодержавие» Прощайте. Живите. Работайте. Любящий вас, братья-товарищи, ваш Егор».

XI

Впоследствии Сазонов писал нам следующее:

«Моим товарищам по делу.

Дорогие братья-товарищи! Прошло полтора года с тех пор, как я выбыл из ваших рядов. Но, оторванный от вас физически, я ни на мгновение не переставал жить с вами заодно всеми моими помыслами. Среди грома революционной бури, промчавшейся над страной, я с особенным интересом прислушивался к голосу Б.О., и голос ее не затерялся в тысячном хоре революции. Б.О. всегда умела давать должный ответ на запросы жизни. С чувством восторга переживал я ее победы, с болью сердца – неудачи, столь естественные, впрочем, для всякого широкого и живого дела. Многие бойцы выбыли из строя, иные безвозвратно. С чувством глубокой скорби, любви и благоговения склоняюсь над могилами сложивших голову... И еще не конец. Судя по всему, обстоятельства еще потребуют выступления Б.О. на историческую арену. Имея в виду предстоящие вам задачи и жертвы, которых будет стоить их выполнение, я чувствую потребность вспомнить старое.

Не могу выразить вам, братья-товарищи, каким счастьем было для меня вспомнить о вас, о вашем любовном, чисто братском отношении ко мне, о вашей доверии, которым вы почтили меня, поручив мне выполнение столь ответственной задачи, как дело 15 июля. Для меня было бы в тысячу раз хуже всякой смерти оскорбить вашу любовь, оказаться ниже вашего

доверия, вообще как-нибудь затенить блестящее дело Б.О., всю величину которого я сам первый признаю и перед которым теряюсь. И судьба едва не сыграла со мною злую шутку. Я был ранен, но не убит. Потеряв силы владеть собою, я в бреду едва не сделался невольным предателем. Пришлось пережить самое, самое отвратительное, что только может испытать революционер: Иудины поцелуи и объятия агентов, которые, пользуясь моей беспомощностью и тем, что повязка лишила меня зрения, являлись ко мне под нейтральным флагом медицины и, как голодные волки, ходили вокруг меня. В течение четырех месяцев до суда я находился в ужаснейшем состоянии неведения относительно результатов моего бреда, в страхе за людей, за дело, в сомнении, – не предатель ли я. Только успех дела и опьянение победой дали мне силы перенести болезнь и пережить сверхчеловеческие душевные муки. К счастью, с бредом обошлось все благополучно. Но после болезни и душевных страданий я вышел на суд очень слабым, с разбитой взрывом и шпионскими кулаками и пинками головою, еле в состоянии владеть мыслями и языком. В таком состоянии я был обязан не говорить на суде, чтобы не погрешить против истинного освещения программы партии. Я так бы, вероятно, и сделал, если бы у меня позади не было кое-чего, что заставляло меня объясниться. Именно: показание, данное мною следователю 15 июля, сейчас же после того, как я очнулся после операции. Не зная, выживу ли я, я счел для себя обязанным заявить поскорее, что я член Б.О.П.С.-Р. и что человек, погибший при взрыве в Северной гостинице, был моим товарищем по делу, – был уговор, чтобы засвидетельствовать принадлежность П. (Покотилова) к Б.О... и только. Но следователь спросил о задачах Б.О., и я, не отдавая себе отчета, что нарушаю партийный принцип «не давать показаний», дал объяснение в довольно неумелой форме, но с резко народовольческим оттенком (то самое объяснение, которое значится в обвинительном акте). Почему я это сделал? Почему нарушил принцип и внес диссонанс в толкование программы? Да потому, что во время допроса я несколько раз почти терял сознание, умолял прекратить, просил для поддержания сил пить. До момента суда я мало заботился о данном показании. Но потом, когда наступило время подумать о том, что я сказал бы, если бы пришлось говорить на суде, я живо почувствовал диссонанс моих слов с программой партии. Сознание этого и заставило меня больше всего высказаться официально. За несколько дней до суда я записал, что сказать, все время избегал впасть в «народовольческий грех»... и, оказалось, перетянул в другую сторону. На суде, сверх всего, были такие невозможные условия для высказывания, что я свои слова купил дорогой ценой: мне сначала вовсе не хотели давать говорить до последнего слова и дали только по настоянию Карабчевского; обрывали меня на каждом слове, сбивали, я терял нить речи, измучился, многое проглотил, иногда нечаянно вырывались слова, которые сейчас же с радостью взял бы обратно. После суда чувствовал себя совершенно разбитым и страшно каялся, что вообще поддерживаю своим участием гнусную комедию суда. Так что, когда после мне сообщили, что на воле очень довольны тем, что я говорил, для меня было больно это слышать, как иронию. После суда раз писал вам, дорогие товарищи, по тому же поводу, в объяснение тех ляпсусов, в которые я впал, сам того не желая. Высказать еще раз все это теперь я чувствовал потребность, чтобы ничего невыясненного не осталось между мной и тем из вас, кому придется выходить на подвиг. Для меня необходимое условие моего счастья, это – сохранить навсегда сознание полной солидарности с вами по всем вопросам жизни и программы. Всякому, обреченному на подвиг опасный, кроме всего прочего, особенно желаю передать... ответ в полном обладании всеми силами физическими и духовными, чтобы с честью до конца пронести знамя организации. Привет вам, дорогие товарищи! Бодрости и удач! Будем верить, что скоро прекратятся печальная необходимость бороться путем террора, и мы – воюем возможность работать на пользу наших социалистических идеалов при условиях, более соответствующих силам человека.

Ваш Егор.

P.S. Прошу эту записку доставить по принадлежности, т.е. Б.О., а не чужим, избранным людям, что, оказывается, было сделано с моей первой запиской».

Судившийся вместе с Сазоновым Шимель-Лейба Вульфович Сикорский, мещанин г. Кнышина по происхождению и кожевник по ремеслу, с 14-летнего возраста уже работал на фабрике, сперва в Кнышине, потом в местечке Криниках и еще позднее в г. Белостоке. В Криниках он впервые познакомился с революционными партиями, но только в Белостоке окончательно примкнул к партии социалистов-революционеров. Там же он близко познакомился с Боришанским, и Боришанский, как я упоминал выше, ввел его в июне 1904 года в боевую организацию.

Судили Сазонова и Сикорского 30 ноября 1904 г. в петербургской судебной палате с сословными представителями. Защищал Сазонова присяжный поверенный Карабчевский, а Сикорского – присяжный поверенный Казаринов. По приговору палаты оба подсудимые были лишены всех прав состояния, причем Сазонов был сослан в каторжные работы без срока, а Сикорский – на 20 лет. Такой сравнительно мягкий приговор (все, в том числе и сам Сазонов, ожидали предания военно-окружному суду и повешения) объясняется тем, что правительство, назначая министром внутренних дел кн[язя] Святополк-Мирского, решило несколько изменить политику и не волновать общество смертными казнями.

Сазонов, как и Сикорский, после приговора были заключены в Шлиссельбургскую крепость. По манифесту 17 октября 1905 года срок каторжных работ был им обоим сокращен. В 1906 году они были переведены из Шлиссельбурга в Акатуйскую каторжную тюрьму.

ГЛАВА ВТОРАЯ УБИЙСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ

I

Вечером, 15 июля, я уехал из Петербурга в Варшаву. В Варшаве меня ожидали Азеф и Ивановская. Азефа, однако, я там уже не нашел: он из газет узнал об убийстве Плеве и без меня выехал за границу. Ивановская уехала в Одессу, я – в Киев, где у меня было назначено свидание с Каляевым. От него я узнал, что ходят слухи об аресте в Петербурге тогда еще не опознанного Сикорского.

Я решил съездить вместе с Каляевым на родину Сикорского, в Белосток: я хотел убедиться лично в справедливости этих слухов. В Белостоке нам не удалось узнать ничего, и мы уехали в Сувалки, чтобы оттуда, при помощи Нехи Нейерман, переправиться в Германию.

У Нехи Нейерман меня встретили, как старого знакомого. В ту же ночь мы перешли, в сопровождении солдата пограничной стражи, границу, а наутро были уже в поезде немецкой железной дороги. В ста верстах от Эйдкунена, на станции Инстербург, к нам подошел немецкий жандарм:

- Куда вы едете?
- В Берлин.
- В Берлин?
- Да, в Берлин.
- А чем вы занимаетесь?
- Мы – студенты.
- Вы едете из России?
- Ну, конечно, из России.
- Ваш паспорт?

У нас не было заграничных паспортов. У меня была только зеленая мещанская для проживания внутри империи книжка. Я был уверен, что нас арестуют, и, зная немецкие нравы, не сомневался, что нас выдадут русским жандармам. Я все-таки вынул мою зеленую книжку.

– Паспорт? Извольте.

Увидав книжку, жандарм даже не раскрыл ее. Он вдруг преобразился. Приложив руку к козырьку, он сказал:

– Извините. Я ошибся. Вы сами знаете – разные люди ездят.

Через три дня мы были в Женеве.

В Женеву приехали также Швейцер, Боришанский, Дора Бриллиант и Дулебов. Мацевский остался в России.

В этот мой приезд я близко познакомился с Гоцем. Он, тяжело больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации.

От него я узнал, что весной собиралось в Одессе заседание центрального комитета. На этом заседании возбуждался вопрос о деятельности боевой организации. Многими высказывалось убеждение, что Плеве не будет нами убит. После долгих дебатов центральный комитет постановил учредить контроль над боевой организацией, и постановление это было послано за границу Гоцу. Как я узнал позже, Гоц возмутился. Только благодаря его вмешательству, нам не было предложено извещать центральный комитет о подробностях нашей работы. Такое пред-

ложение имело бы, несомненно, самые печальные последствия. Едва ли кто-либо из членов организации подчинился бы в этом случае дисциплине. Наоборот, вероятнее, что весь состав ее пошел бы на конфликт с высшим учреждением партии. Чем бы окончился этот конфликт, сказать трудно, но, во всяком случае, он отразился бы неблагоприятно на всех партийных делах. Заслуга Гоца заключается в том, что он предупредил почти неизбежное столкновение.

Официально роль Гоца в терроре, как я выше упомянул, ограничивалась заграничным представительством боевой организации. На самом деле она была гораздо важнее. Не говоря уже о том, что и Гершуни и Азеф советовались с ним о предприятиях, – мы, на работе в России, непрерывно чувствовали его влияние. Азеф был практическим руководителем террора, Гоц – идейным. Именно в его лице связывалось настоящее боевой организации с ее прошлым. Гоц сумел сохранить боевые традиции прошлого и передать их нам во всей их неприкосновенности и полноте. Благодаря ему, имя нам лично неизвестного Гершуни было для нас так же дорого, как впоследствии имена Каляева и Сазонова. Для членов боевой организации, знавших Гоца за границей, он был не только товарищ, он был друг и брат, никогда не отказывавший в помощи и поддержке. Его значение для боевой организации трудно учесть: он не выезжал в Россию и не работал рука об руку с нами. Но, мне думается, я не ошибусь, если скажу, что впоследствии его смерть была для нас потерей не менее тяжелой, чем смерть Каляева.

В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное оживление. Партия сразу выросла в глазах правительства и стала сознавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, являлись люди с предложением своих услуг. С этим подъемом совпали известия из России – назначение министром внутренних дел князя Святополк-Мирского и эра либеральных речей и банкетов. К новому назначению партия отнеслась, конечно, скептически, и от либеральных речей не ожидала больших результатов. И все-таки было ясно, что убийство Плеве уже сыграло крупную роль: правительство поколебалось, и общество заговорило смелее. Этот успех в нас, членах боевой организации, вселил уверенность в своих силах.

В Женеве я застал Бориса Васильевича Моисеенко, бывшего студента горного института, моего товарища по группе «Рабочее Знамя» и по вологодской ссылке. Еще в Вологде, в разговорах со мной и с Каляевым, он высказывался за необходимость убийства Плеве, и теперь бежал за границу с целью работать в терроре. Я познакомил его с Азефом. Азеф принял его в нашу организацию.

Тогда же в Женеве состоялся ряд совещаний по вопросу об уставе боевой организации. На совещаниях этих присутствовали: Азеф, Швейцер, Каляев и я. Был выработан новый устав взамен проекта старого, составленного во времена Гершуни, и нам тогда неизвестного. Впоследствии организация не применяла ни старого, ни нового устава, и внутреннее ее устройство определялось молчаливым соглашением между ее членами, и особенно авторитетом Азефа. Но наши совещания все-таки представляют известный интерес. Они были вызваны желанием резко отграничиться от центрального комитета и предупредить в будущем возможность какого бы то ни было вмешательства в наши дела. Среди товарищей господствовало убеждение, что для успеха террора необходима полная самостоятельность боевой организации в вопросах как технических, так и внутреннего ее устройства. Такой взгляд естественно вытекал, во-первых, из сознания ненормальности положения партии, признающей террор и имеющей во главе своей центральный комитет, состоящий в подавляющем большинстве из людей, незнакомых с техникой боевого дела (в состав центрального комитета входили в это время, если не ошибаюсь: М.Р.Гоц, Е.Ф.Азеф, В.М.Чернов, А.И.Потапов, С.Н.Слетов, Н.И.Ракитников, М.Ф.Селюк, Е.К.Брешковская), и, во-вторых, из сознания необходимости для успеха террора строгой конспиративной замкнутости организации. Кроме этого, у многих из нас зародилась боязнь за успех террористических предприятий: мы опасались, что право центрального комитета распускать боевую организацию может вредно отразиться на деятельности последней.

Таким образом, устав был нам нужен не столько для внутреннего нашего устройства, сколько для урегулирования наших отношений с центральным комитетом. Указанных выше взглядов держалось большинство членов организации, и только Азеф и Швейцер допускали в принципе право технического контроля боевой организации центральным комитетом. На наших женевских совещаниях Каляеву и мне пришлось много спорить по этому вопросу с Азефом и Швейцером. После долгих переговоров был принят устав, составленный в духе большинства членов организации, прямо и резко ограничивавший сферу влияния центрального комитета его политической компетенцией. Тогда же было постановлено, что принятый нами устав вступает в законную силу без одобрения центрального комитета, явочным порядком, с ведома лишь заграничного представителя боевой организации.

Проект устава боевой организации, составленный при Гершуни, гласил:

«Цель боевой организации заключается в борьбе с существующим строем посредством устранения тех представителей его, которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы. Устраняя их, боевая организация совершает не только акт самозащиты, но и действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и стремится довести правительство до сознания невозможности сохранить далее самодержавный строй.

Кроме казней врагов народа и свободы, на обязанности боевой организации лежит подготовка вооруженных сопротивлений власти, вооруженных демонстраций и прочих предприятий боевого характера, в которых сила правительственного деспотизма сталкивается с силой отпора или нападения под знаменем свободы, в которых слово воплощается в дело, в которых реализуется идея революции.

1

1. Боевая организация распадается на два отдела: центральный и местный. Первый состоит из распорядительной комиссии и ее агентов, второй – из местных групп, распределенных по разным районам.

2. Распорядительной комиссии принадлежит верховное руководство и решающий голос при совершении террористических актов, когда дело касается лиц, устранению которых придается общегосударственное значение. Сверх того, распорядительной комиссии принадлежит контроль над деятельностью местных боевых групп, которые обязаны доводить до сведения распорядительной комиссии о всяком замышляющемся факте, причем распорядительная комиссия имеет право налагать veto на решения местной боевой группы.

3. Распорядительная комиссия действует вполне самостоятельно, подчиняясь центральному комитету партии социалистов-революционеров лишь в тех пределах, которые ставит программа партии.

4. Распорядительная комиссия заведывает боевой организацией и паспортным бюро. Касса составляется из пожертвований на дело боевой организации и сбор денег может производиться только с разрешения распорядительной комиссии. Боевая организация распоряжается денежными средствами вполне самостоятельно, и контроль кассы принадлежит только распорядительной комиссии.

5. Число членов распорядительной комиссии не должно превышать десяти.

6. Все вопросы за исключением вопросов об изменении устава и принятия новых членов решаются простым большинством голосов; для изменения же устава и принятия нового члена нужно единогласное решение.

7. Все члены распорядительной комиссии равноправны и в своих действиях подлежат контролю лишь общего собрания распорядительной комиссии.

8. Особые условия деятельности боевой организации делают необходимым предъявление к членам особо строгих требований:

а) Член боевой организации должен быть человеком, обладающим безграничною преданностью делу организации, доходящей до готовности пожертвовать своей жизнью в каждую данную минуту.

б) Он должен быть человеком выдержанным, дисциплинированным и конспиративным.

с) Он должен дать обязательство безусловно повиноваться постановлениям общего собрания распорядительной комиссии, если он член или агент комиссии, и распоряжениям комиссии или же районного представителя комиссии, если он член местной боевой организации.

д) Прием в члены какого-либо из отделов боевой организации допускается лишь при согласии на то всех членов данной группы. Сверх того, нужно утверждение со стороны агента распорядительной комиссии, заведующего данным районом, если новый член вступает в одну из местных боевых групп.

9. Агенты распорядительной комиссии отдают себя в безусловное распоряжение комиссии, повинуются всем ее указаниям и пользуются правом лишь совещательного голоса.

10. Деятельность боевой организации может быть остановлена лишь общепартийным съездом, если он найдет это нужным в тактических целях.

2

Местные боевые группы образуются с утверждения распорядительной комиссии во всех районах, на которые распространяется деятельность партии. В каждый из этих районов, по мере возникновения там местной боевой организации, распорядительная комиссия назначает своего районного представителя – члена или агента распорядительной комиссии, которому подчиняются все местные боевые группы.

1. Местные боевые группы вполне автономны, но действуют лишь в пределах своего района. Они обязаны давать отчет в своей деятельности распорядительной комиссии и предупреждать ее о каждом замышляемом факте.

2. Расходы по тем предприятиям, которые ведутся по указанию или же с одобрения распорядительной комиссии, относятся на счет центральной кассы боевой организации.

3. Члены местных организаций принимают на себя обязательство предоставить себя в полное распоряжение распорядительной комиссии для всякого рода боевых предприятий, когда комиссия этого потребует.

4. Все местные боевые группы данного района находятся в непосредственном подчинении у местного представителя боевой организации».

Проект этот так и остался проектом. Он не вошел в жизнь и не применялся на практике. «Распорядительной комиссии» никогда, ни до, ни после составления проекта, не существовало, местных боевых групп тогда еще не было, наконец, и количество террористических сил было настолько ничтожно, что его едва хватило бы даже только на распорядительную комиссию.

Но проект отличался тою же существенною особенностью, какую отличался и наш устав: согласно ему, террористические организации резко обособлялись от центрального комитета и пользовались полною внутреннею самостоятельностью. Право роспуска боевой организации предоставлялось не центральному комитету, а общепартийному съезду, – высшей инстанции партии.

Наш устав, принятый в августе 1904 года, был следующий:

«1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с самодержавием путем террористических актов.

2. Боевая организация пользуется полной технической и организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную кассу и связана с партией через посредство центрального комитета.

3. Боевая организация имеет обязанность сообразоваться с общими указаниями центрального комитета, касающимися:

а) Круга лиц, против коих должна направляться деятельность боевой организации.

б) Моменты полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы.

Примечание. В случае объявления центральным комитетом полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы, боевая организация оставляет за собой право довести до конца свои предприятия, если таковые ею были начаты до означенного объявления центрального комитета, какового права боевая организация может быть лишена лишь специальным постановлением общего съезда партии.

4. Все сношения между центральным комитетом и боевой организацией ведутся через особого уполномоченного, выбираемого комитетом боевой организации из числа членов последней.

5. Верховным органом боевой организации является комитет, пополняемым через кооптацию из числа ее членов.

6. Все права комитета, кроме нижеперечисленных, передаются им избираемому им же из числа его членов, сменяемому по единогласному соглашению всех членов комитета, члену-распорядителю.

7. Комитет боевой организации сохраняет за собой:

а) Право приема новых и исключения старых членов как комитета, так и организации (во всех случаях с единогласного соглашения всех членов комитета).

б) Право участия в составлении плана действий, причем, в случае разногласия между отдельными членами комитета, решающий голос остается за членом-распорядителем.

с) Право участия в составлении литературных произведений, издаваемых от имени боевой организации.

8. Одновременно с выбором члена-распорядителя, комитет боевой организации производит выбор его заместителя, к каковому заместителю переходят все права и полномочия члена-распорядителя в случае ареста последнего.

9. Число членов комитета боевой организации неограничено, в случае же ареста одного из них, все права его переходят к заранее намеченному комитетом кандидату.

10. Члены боевой организации во всех своих действиях подчинены комитету боевой организации.

11. В случае одновременного ареста всех членов комитета боевой организации или всех ее членов, кроме одного (заранее намеченного комитетом кандидата), право кооптации постоянного комитета боевой организации переходит к заграничному ее представителю, а во втором случае – также и к кандидату в члены комитета боевой организации.

12. Настоящий устав может быть изменен лишь с единогласного соглашения всех членов комитета боевой организации и ее заграничного представителя».

Членом-распорядителем комитета боевой организации был избран Азеф, заместителем его я, в комитет же вошел, кроме Азефа и меня, еще и Швейцер.

Этим уставом и партийным соглашением, напечатанным в № 7 «Революционной России», определялось взаимоотношение между центральным комитетом и боевой организацией. В № 7 «Революционной России» читаем:

«Согласно решению партии, из нее выделилась специальная боевая организация, принимающая на себя, – на началах строгой конспирации и разделения труда, – исключительно деятельность дезорганизационную

и террористическую. Эта боевая организация получает от партии, через посредство ее центра, – общие директивы относительно выбора времени для начала и приостановки военных действий и относительно круга лиц, против которых эти действия направляются. Во всем остальном она наделена самыми широкими полномочиями и полной самостоятельностью. Она связана с партией только через посредство центра и совершенно отделена от местных комитетов. Она имеет вполне обособленную организацию, особый личный состав (по условиям самой работы, конечно, крайне немногочисленный), отдельную кассу, отдельные источники средств».

Это партийное решение, обособляющее вполне боевую организацию от центрального комитета, впоследствии не было отменено ни первым, ни вторым общими съездами партии.

II

Окончив обсуждение устава и выпустив, вместе с Гоцем и Черновым, четвертый «Летучий Листок Революционной России» (в этом «Листке» статья «Смерть В.К. фон-Плеве, впечатления и отклики» принадлежит Каляеву), я уехал в Париж. В Париже устраивалась динамитная мастерская. Швейцер, под именем торговца сливками, греческого подданного Давужогро, снял квартиру в квартале Гренель, на улице Грамм. Он поселился в ней вместе с Дорой Бриллиант и младшим братом Азефа, Владимиром, по образованию химиком. В той мастерской изготовлялся динамит для будущих покушений, в ней же была и школа для занятий по химии взрывчатых веществ и по снаряжению динамитных снарядов. Каляев, Дулебов, Боришанский, Моисеенко и я поочередно обучались у Швейцера технике динамитного дела. Работая в этой мастерской, Швейцер в то же время занимался изучением новых открытий по химии и электротехнике. Ему казалось, что только широкое применение научных изобретений выведет террор на дорогу победоносной борьбы с правительством. К сожалению, он не успел сделать ничего крупного в этом направлении.

В политике Швейцер держался умеренных взглядов. Я помню, однажды вечером, после занятий у него в мастерской, мы вышли вместе на улицу и зашли в кафе. Он спросил себе газету и весь погрузился в чтение. Вдруг он сказал:

– А министерство накануне падения.

Я удивленно обернулся к нему.

– Какое министерство?

– Французское, конечно.

– Французское?.. Так не все ли равно?

В свою очередь он удивленно посмотрел на меня:

– Как все равно? Радикалы будут у власти.

– Ну?

– Я же вам говорю: радикалы будут у власти.

Я все еще не понимал. Я сказал:

– Какая же разница – Мелин, Комб или Клемансо?

– Какая разница?.. Вы не понимаете? Значит, вы вообще против парламента?

Я сказал, что действительно, не придаю большого значения борьбе партии в современных парламентах и не вижу победы трудящихся масс в замене Мелина Комбом или Комба Клемансо. Швейцер спросил:

– Значит, вы анархист?

– Нет. Это значит только то, что я сказал: я не придаю большого значения парламенту.

– С вашими взглядами я бы не был в партии социалистов-революционеров.

Таковыми «анархистами», как я, были и Каляев, и Моисеенко, и Дулебов, и Боришанский, и Бриллиант. Мы все сходились на том, что парламентская борьба бессильна улучшить положение трудящихся классов, мы все стояли за *action directe* (непосредственное действие (фр.). – Ред.) и были одинаково далеки как от тактики Жореса, так и от тактики Вальяна. Был еще один, более важный пункт разногласий между нами и Швейцером. Мы разное смотрели на задачи террора. Для Швейцера центральный террор был только одним из проявлений планомерной партийной борьбы, и боевая организация – только одним из учреждений партии социалистов-революционеров. Хотя Каляев впоследствии, в речи своей на суде, стал на эту же точку зрения, в действительности он держался иной. Он полагал, как и мы, что центральный террор – важнейшая задача данного исторического момента, что перед этой задачей бледнеют все остальные партийные цели, что для успеха террора должно и можно поступиться успехом всех других предприятий, что боевая организация, составляя часть партии социалистов-революционеров, близкой ей по направлению и целям, делает вместе с тем общепартийное, даже внепартийное дело, – служит не той или иной программе и партии, а всей русской революции в целом. Я добавлю к этому, что не только Каляев, но и все мы не сочли бы себя вправе высказывать публично, на суде, такие мнения: вступая в партию, мы брали на себя обязательство защищать на суде строго партийную точку зрения.

Я помню мой разговор с Каляевым по поводу прокламации центрального комитета, изданной после 15 июля на французском языке в Париже: «Ко всем гражданам цивилизованного мира». В этой прокламации, между прочим, было такое заявление:

«Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от кого заслонять истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали наши героические предшественники „Народной Воли“, террор, как тактическую систему в свободных странах. Но в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестницы, – мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права».

Каляев возмущался этим заявлением. Он говорил:

– Я не знаю, что бы я делал, если бы родился французом, англичанином, немцем. Вероятно, не делал бы бомб, вероятно, я бы вообще не занимался политикой... Но почему именно мы, партия социалистов-революционеров, т.е. партия террора, должны бросить камнем в итальянских и французских террористов? Почему именно мы отрекаемся от Лункена и Равашолы? К чему такая поспешность? К чему такая боязнь европейского мнения? Не мы должны бояться, – нас должны уважать. Террор – сила. Не нам заявлять о нашем неуважении к ней...

Я сказал ему на эти его слова то, что мне сказал Швейцер:

– Янек, ты – анархист.

– Нет, но я верю в террор больше, чем во все парламенты в мире. Я не брошу бомбу в *safe*, но и не мне судить Равашолы. Он мне более товарищ, чем те, для кого написана прокламация.

Моисеенко был согласен с Каляевым, Дулебов и Боришанский высказывались еще более резко. Рабочие, они допускали все средства в борьбе с наиболее опасным врагом – с буржуазией. Дора Бриллиант молчаливо одобряла такое их мнение. Эти разногласия, конечно, мало отражались на наших между собой отношениях. В организации в общем продолжал царить прежний дух взаимной любви и дружбы.

Тогда же в Париже состоялся ряд совещаний нашего комитета по вопросу о дальнейшем образе действий. Было решено, что организация предпримет одновременно три дела: в Петербурге – на петербургского генерал-губернатора, генерала Трепова, в Москве – на московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в Киеве – на киевского генерал-губернатора, генерала Клейгельса. Наличный состав организации определялся лицами, бывшими в то время за границей; Мацевский был в России, и относительно него было

неизвестно, примет ли он немедленное участие в боевой работе. Мацевский такого участия не принял: он ушел в польскую социалистическую партию. За исключением его и оставшегося за границей Азефа, боевая организация состояла в то время из: Доры Бриллиант, Дулебова, Боришанского, Каляева, Швейцера, Моисеенко, Ивановской, меня и Татьяны Леонтьевой.

Татьяна Александровна Леонтьева, живя в Женеве, через Брешковскую предложила свои услуги боевой организации. И на меня, и на Каляева она сделала впечатление, похожее на то, которое делала при первых встречах Дора Бриллиант. С первого же слова в Леонтьевой чувствовалась неисчерпаемая преданность революции и готовность во имя ее на жертву. Особенно понравилась она Каляеву, я же верил его чутью, и потому, не колеблясь, высказался за прием ее в члены организации. Леонтьева могла быть полезной делу террора не только своей готовностью отдать за него жизнь. Дочь якутского вице-губернатора, аристократка по матери и по матери же связанная с богатым и чиновным Петербургом, она могла надеяться быть представленной ко двору и, в счастливом случае, получить звание фрейлины. Она еще не потеряла своей легальности, ни в каких революционных делах замешана не была, и в глазах полиции не могла казаться опасной. Ее присутствие в организации давало нам возможность иметь из хорошего источника необходимые для нас сведения о министрах и великих князьях. Предполагалось, поэтому, что ее роль пока и ограничится упрочением ее петербургских связей и сообщением нам таких сведений.

Было решено, что в Петербург поедет Швейцера и станет во главе покушения на Трепова. Из старых членов организации вместе с ним должны были принять участие в этом покушении Дулебов и Ивановская, из новых – Леонтьева и ряд товарищей, частью намеченных на этих же совещаниях, частью кооптированных в России Швейцерам по праву, данному ему комитетом. Петербургский отдел боевой организации впоследствии включил еще в свой состав: Басова, Шиллерова, Подвицкого, Трофимова, Загороднего, Маркова, Барыкова и некоего рабочего из Белостока, известного под именем «Саша Белостоцкий». Задача Швейцера, сама по себе очень трудная, осложнилась еще тем, что члены его отдела были мало знакомы между собой и большинство из них не имело никакого боевого опыта. Кроме того, «Саша Белостоцкий» оказался человеком, для боевой организации непригодным.

Киевский отдел боевой организации был поручен, по настоянию Азефа, Боришанскому. Ему также было предоставлено право кооптации новых членов, но всего в количестве двух человек, и то исключительно из лично и хорошо ему знакомых рабочих по Белостоку – из наметившейся уже тогда белостоцкой боевой дружины. Боришанский кооптировал супругов Казак.

Наконец, мне было поручено покушение на великого князя Сергея Александровича. Со мной в Москву должны были ехать Дора Бриллиант, Каляев и Моисеенко. Я тоже имел право пополнить свой отдел, но всего только одним человеком, указанным мне Азефом. Он рекомендовал мне старого народовольца, рабочего Х. о котором, по его словам, можно было справиться в Баку.

Для всех трех отделов план покушения был принят один и тот же – тот, который был принят и в деле Плеве. Предполагалось учредить наружное наблюдение за Треповым, великим князем Сергеем и Клейгельсом и затем убить их на улице. Для целей наблюдения должны были, как и раньше, служить извозчики и уличные торговцы. В частности, в Москве извозчиками должны были быть Моисеенко и Каляев.

Успех дела Плеве не оставлял в нас сомнений в успехе и предпринимаемых нами покушений. Мы не задумывались ни над тем, что петербургский отдел будет состоять из неопытных людей, ни над тем, что отдел Боришанского слишком малочислен. Мы были твердо уверены, что при отсутствии провокации, предпринятые нами дела должны увенчаться успехом.

После совещания Каляев и Моисеенко уехали в Брюссель, я же остался в Париже, ожидая паспорта и динамита. Паспорта я и Швейцера получили английские, я – на имя Джемса Гал-

ля, Швейцер – на имя Артура Мак-Куллона. Впоследствии, после смерти Швейцера, – в Лондоне состоялся суд над Мак-Куллоном и посредником между ними и нами – Бредсфордом по обвинению их в незаконной передаче паспортов русским революционерам. Оба англичанина были приговорены к денежному штрафу по 100 фунтов каждый, и штраф этот был внесен боевой организацией. В то время боевая организация обладала значительными денежными средствами: пожертвования после убийства Плеве исчислялись многими десятками тысяч рублей. Часть этих денег отдавали партии на общепартийные дела.

В начале ноября члены боевой организации выехали в Россию. Динамит был уже готов, и мы под платьем перевезли его через границу. Через несколько дней Каляев, Моисеенко, Дора Бриллиант и я встретились в Москве. Боришанский и Швейцер разделили между собою динамит в Варшаве.

III

Начиная дело великого князя Сергея, мы пользовались опытом покушения на Плеве. Московский комитет должен был располагать некоторыми ценными сведениями о генерал-губернаторе. Мы предпочли отказаться от них: мы не желали вступать в какие бы то ни было сношения с комитетскими работниками. Степень конспиративности и революционной опытности последних была нам неизвестна, и мы боялись знакомством с ними навести полицию на след нашего покушения. Поэтому московский комитет долгое время не подозревал, что в Москву прибыли и работают члены боевой организации. Мы же, полагаясь на собственные силы, самостоятельно начали наблюдения.

Предстояло прежде всего узнать, где живет генерал-губернатор. Это было известно каждому москвичу, но ни один из нас москвичом не был. Мы колебались, какой из дворцов великого князя взять исходной точкой для наблюдения: генерал-губернаторский дом на Тверской, Николаевский или Нескучный дворцы. В адрес-календаре мы не могли найти указаний, спросить же нам было не у кого, если не у членов московского комитета.

Моисеенко разрешил эту задачу. Он поднялся на колокольню Ивана Великого и начал расспрашивать сопровождавшего его сторожа о достопримечательностях Москвы. В разговоре он попросил указать ему дворец генерал-губернатора. Сторож указал на Тверскую площадь и сообщил, что великий князь живет именно там.

Таким образом, мы узнали нужный нам адрес. Теперь предстояло установить выезды великого князя. Моисеенко и Каляев купили лошадей и сани и записались извозчиками. Я не сомневался, что Каляев справится со своей задачей: его опыт уличного торговца должен был ему помочь и на извозничьем дворе. Но Моисеенко не имел опыта. Кроме того, он происходил из состоятельной семьи и не привык ни к физическому труду, ни к тяжелым условиям жизни. Несмотря на это, он очень быстро освоился со своим положением.

Моисеенко и Каляев купили сани в одно и то же время, и за лошадой заплатили одни и те же деньги, но даже по внешности они значительно отличались друг от друга.

Моисеенко ездил на заезженной, захудалой лошаденке, которая кончила тем, что упала за Тверской заставой. Сани у него были подержанные и грязные, полость рваная и облезлая. Сам он имел вид нищего московского Ваньки. У Каляева была сытая крепкая лошадь, сани были с меховой полостью. Он подпоясывался красным шелковым кушаком, и в нем не трудно было угадать извозчика-хозяина. Зато на дворах их роли менялись. Моисеенко почти не давал себе труда надевать маску. На расспросы извозчиков о его биографии он не удостоивал отвечать; по воскресеньям уходил на целый день из дому; для мелких услуг и для ухода за лошадью нанимал босяка; с дворником держал себя независимо и давал понять, что имеет деньги. Такой образ действий приобрел ему уважение извозчиков. Каляев держался совсем другой точки. Он был застенчив и робок, подолгу и со всевозможными подробностями рассказывал о своей

прежней жизни, – лакея в одном из петербургских трактиров, был очень набожен и скуп, постоянно жаловался на убытки и прикидывался дурачком там, где не мог дать точных и понятных ответов. На дворе к нему относились с оттенком пренебрежения и начали его уважать много позже, только убедившись в его исключительном трудолюбии: он сам ходил за лошадью, сам мыл сани, выезжал первый и возвращался на двор последним. Как бы то ни было, и Каляев и Моисеенко разными путями достигли одного и того же: их товарищи-извозчики, конечно, не могли заподозрить, что оба они – не крестьяне, а бывшие студенты, члены боевой организации, наблюдающие за великим князем Сергеем.

На работе они соперничали друг с другом. Каляев, как и перед убийством Плеве, выстояв определенные по общему плану часы на назначенной улице, не прекращал наблюдения. Весь остаток дня он продолжал наблюдать, руководствуясь уже своими собственными соображениями. И ему удавалось не раз видеть великого князя на такой улице и в такой час, где и когда его можно было ожидать всего менее. У Моисеенко тоже был свой план. Независимо от Каляева, он приводил его в исполнение. Но он мало ездил по улицам. Чисто логическим путем он приходил к выводу, что великий князь неизбежно выедет в определенное время, и старался быть на Тверской как раз в эти часы. Таким образом, его наблюдение дополняло наблюдение Каляева и наоборот.

Трудный вопрос о систематических свиданиях со мной, – о свиданиях барина-англичанина с извозчиками, они тоже решали различно. Каляев предпочитал видеться в санях, хотя с козел было неудобно сговариваться о наблюдении, и мороз не позволял долгих свиданий. Только изредка, и заранее обдумав предлог для извозничьего двора, Каляев по воскресеньям приходил ко мне в трактир Бакастова у Сухаревой башни. Эти свидания были праздниками для нас. Мы могли провести вместе два-три часа, обсудить все подробности дела и подумать о будущем. Каляев много говорил о своей работе и не раз повторял, что он счастлив, и что с нетерпением ждет покушения. Моисеенко почти не встречался со мной на улице. Не устаивая объясняться у себя на дворе, он надевал свою праздничную поддевку и вечером шел на свидание со мной в трактир, в манеж или цирк. Он холодно и спокойно рассказывал о великом князе, но за этим наружным спокойствием сквозило так же, как у Каляева, увлечение работой. Об убийстве он говорил сдержанно и всегда предполагал, что непосредственным участником его будет он сам. И с Моисеенко и с Каляевым я в подробностях обсуждал каждый шаг нашей общей работы. Каляев так рассказывал о своей жизни:

– Сделал я себе паспорт на имя подольского крестьянина, хохла, Осипа Ковалья, – хохла, чтобы объяснить мой польский акцент. И ведь бывает такое несчастье. Вечером спрашивает дворник: ты какой, говорит, губернии? Я говорю, дальний, подольский я. Ну, – говорит, – земляки будем... Я сам, мол, подольский. А какого уезда? Я говорю: я ущицкий. Обрадовался дворник: вот так раз, говорит, и я ведь тоже ущицкий. Стал он меня расспрашивать, какой волости, какого села, слышал ли про ярмарку в Голодаевке, знаешь ли деревню Нееловку? Ну, да ведь меня не поймает. Я раньше, чем паспорт писать, зашел в Румянцевскую библиотеку, прочитал про Ущицкий уезд, – смеюсь. Как не знать, говорю, бывали, – а ты, говорю, в городе-то бывал, в Ущице-то есть собор, говорю, видел? Еще оказалось, что я лучше дворника родину знаю.

Моисеенко говорил иное:

– Подходит ко мне на дворе какой-то босяк. Ты откуда, земляк, будешь? Я посмотрел на него, говорю: из Порт-Артура я. Он и глаза раскрыл: из Порт-Артура? Ну, а я на него не гляжу, лошади хомут надеваю. Постоял он, чешет в затылке; а чего ты, говорит, бритый? А у меня голова, видишь, стриженная не по-извозничьему положению. – Бритый? – говорю. В солдатах был, в больнице в тифу лежал, теперь с дураком разговариваю... Опять гляжу, – чешет в затылке, потом говорит: ну и вижу я – птица ты, в солдатах служил, в Порт-Артуре был, в тифу в больнице лежал... И с тех пор шапку передо мной ломает.

Несмотря на малочисленность организации, наблюдение, благодаря нашему прежнему опыту, шло очень успешно. Вскоре был установлен в точности выезд великого князя. Каляев рассказывал о нем так же подробно, как некогда о карете Плеве. Отличительными чертами великокняжеской кареты были белые вожжи и белые, яркие, ацетиленовые огни фонарей. Таких огней больше ни у кого в Москве не было. Только великий князь и его жена, великая княгиня Елизавета, ездили с таким освещением. Это несколько усложняло нашу задачу, – можно было ошибиться и принять карету великой княгини за карету великого князя. Но Каляев и Моисеенко изучили великокняжеских кучеров, и по кучерам безошибочно брались определить, кто именно едет в карете.

Установления выезда было, однако, еще недостаточно. Необходимо было установить, куда и когда ездит великий князь. Вскоре нам удалось выяснить, что, живя в доме генерал-губернатора, он часто, раза два-три в неделю, в одни и те же часы, ездит в Кремль. Таким образом, уже через месяц, к началу декабря, наблюдение в главных чертах было закончено. Я предупредил об этом Дору Бриллиант, хранившую динамит в Нижнем Новгороде.

Тогда же, в начале декабря, я уехал в Баку, чтобы увидеться там с рекомендованным мне Азефом народовольцем Х. В Баку я разыскал членов местного комитета, в том числе Марию Алексеевну Прокофьеву, невесту Сазонова, впоследствии, в 1907 году, судившуюся вместе с Никитенко и Синявским по процессу о заговоре на царя. От нее и от М.О.Лебедевой я узнал, что разыскиваемого мною Х. в Баку нет, и что он едва ли склонен принять участие в террористическом предприятии. Вместе с тем Лебедева указала мне на Петра Александровича Куликовского, бывшего студента петербургского учительского института, а в то время члена бакинского комитета. Она сообщила мне, что Куликовский давно просит рекомендовать его в боевую организацию и что он лично и хорошо известен не только ей, но и остальным бакинским товарищам. Там же, в Баку, я увиделся с ним.

Куликовский был человек выше среднего роста, в очках, с большими и добрыми, на выкате, глазами. На первом же свидании он сказал мне, что хочет работать в терроре. Чтобы убедиться в силе его желания, я стал убеждать его. Я говорил ему то же самое, что когда-то говорил Дыдынскому, – что в террор должен идти только тот, для кого нет психической возможности участвовать в мирной работе, и что никогда не следует торопиться с таким решением. Куликовский твердо стоял на своем. Он показался мне человеком убежденным и искренним. После нескольких свиданий я условился с ним, что он немедленно выедет в Москву.

Вернувшись из Баку, я узнал от Моисеенко и Каляева следующее: 5 и 6 декабря в Москве произошли известные студенческие демонстрации. Московский комитет выпустил по этому поводу заявление, с прямой угрозой великому князю. Комитет, как выше было указано, и не подозревал о нашем присутствии в Москве, и, угрожая, брал на себя инициативу убийства. Мы не знали об этом его заявлении. Вот оно:

«Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицеймейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их».

Вскоре после появления этой прокламации великий князь неожиданно и неизвестно куда выехал из дома генерал-губернатора. Перед нами стояла задача отыскать его новое местожительство. Мы стали наблюдать за Николаевским, Нескучным и даже старым Басманным дворами. Каляеву удалось увидеть великокняжескую карету у Калужских ворот. Мы вывели из этого заключение, что великий князь живет в Нескучном дворце, и не ошиблись.

Я и до сих пор не знаю, чему приписать внезапный переезд великого князя, – простой ли случайности, сведениям ли, полученным им о нашей организации, или заявлению московского комитета. Я лично склоняюсь к последнему мнению. Великий князь не мог не посчитаться с

угрозой партии социалистов-революционеров, а в Нескучном дворце он чувствовал себя безопаснее, чем на Тверской. Однако опасность для него не уменьшилась. Поле для нашего наблюдения было больше, – вместо короткого пути от Тверской площади до Кремля, великому князю приходилось делать дорогу в несколько верст: от Нескучного к Калужским воротам и затем к Москве-реке через Пятницкую, Большую Якиманку, Полянку или Ордынку. На этом длинном пути можно было наблюдать целый день, не навлекая на себя никаких подозрений. Вскоре Моисеенко и Каляев установили, что великий князь продолжает ездить в Кремль, но в разные дни и часы, хотя почти всегда одной и той же дорогой – по Большой Полянке.

Между тем деньги, привезенные нами из-за границы, приходили к концу. Несколько раз нам оказывал помощь присяжный поверенный В.А.Жданов, мой хороший знакомый еще по вологодской ссылке, впоследствии защищавший Каляева и еще позже, в 1907 году, осужденный по социал-демократическому делу на четыре года каторжных работ. Я написал Азефу в Париж, с просьбой выслать немедленно денег. Но деньги не приходили. Обращаться в московский комитет мы ни в каком случае не желали. Подумав, я решил на следующее.

Я знал, что Жданов в приятельских отношениях с присяжным поверенным П.Н.Малянтовичем, лично мне тогда неизвестным. Я явился к последнему на квартиру в часы его деловых приемов и попросил доложить, что пришел помещик Кшесинский по делу. Прождав часа два, вместе с другими просителями, в приемной, я, наконец, был приглашен в кабинет. В кабинете я объяснил Малянтовичу, что я – хороший знакомый Жданова и знаю, что он, Малянтович, тоже его хороший знакомый; что мне нужны деньги, и что я прошу его ссудить мне 200 рублей на неделю, под поручительство Жданова.

Малянтович с удивлением слушал меня:

– Но ведь Жданова нет в Москве, – сказал он.

Я ответил, что если бы Жданов был в Москве, то я и обратился бы к нему, а не к человеку, мне совершенно незнакомому. Малянтович слушал с все возрастающим удивлением.

– Ваша фамилия Кшесинский? – спросил он.

Я сказал:

– Это все равно, как моя фамилия.

Малянтович внимательно посмотрел на меня. Потом он сказал:

– Хорошо. У меня нет сейчас денег, но зайдите дня через два.

Через два дня я, действительно, получил от него 200 рублей. Много позже, защищая меня в Севастополе, Малянтович вспомнил об этом случае; он рассказал мне, что долго колебался, давать ли мне деньги: он не догадывался, что я революционер, и не понимал, что значит мое обращение к нему, человеку незнакомому.

В конце декабря в Москву приехал гражданский инженер А.Г.Успенский, часто оказывавший услуги боевой организации, и привез денег. От Азефа я тоже получил чек. Долг Малянтовичу был уплачен. Тогда же в Москву приехал член центрального комитета Н.С.Тютчев. Переговорив с ним, я решил, во избежание недоразумения, объясниться с московским комитетом по поводу упомянутой выше прокламации. С большими предосторожностями я встретился с одним из членов его, Владимиром Михайловичем Зензиновым, впоследствии работавшим одно время в боевой организации. Я спросил Зензинова, готовит ли московский комитет покушение на великого князя.

– Да, готовит, – ответил Зензинов.

– Имеет ли комитет какие-либо сведения об образе его жизни и производит ли наблюдение?

Зензинов рассказал мне обо всех приготовлениях, сделанных комитетом. Комитет был, конечно, не в силах убить великого князя, и его работа могла только помешать нашей. Я сказал об этом Зензинову и от имени боевой организации просил прекратить всякое наблюдение. Через день Зензинов был арестован по комитетскому делу, и я имел случай лишний раз

убедиться, как важно для успеха террористического предприятия полное его обособление. За Зензиновым, конечно, следили уже в день моего с ним свидания, при большей наблюдательности филеры могли проследить и меня, а через меня и весь наш многочисленный отдел.

Приблизительно в это же время приехал в Москву Куликовский. Вспоминая свой печальный опыт с Дыдынским, я еще раз стал убеждать его отказаться от своего решения. Но Куликовский, как и в Баку, настойчиво возражал мне. Он и на этот раз показался мне человеком, искренне преданным делу террора. Я и до сих пор думаю, что я тогда не ошибся.

Было решено, что Куликовский будет наблюдать в качестве уличного торговца. Наблюдение ему не давалось. Этому мешали и его неопытность, и его близорукость. Он так и не стал торговцем, а без лотка и товара, в поддевке и картузе, наблюдал выезд великого князя у Калужских ворот. Он видел несколько раз великокняжескую карету, и этого было, конечно, довольно, чтобы иметь возможность участвовать в покушении.

Дора Бриллиант, жившая частью в Москве, частью, по конспиративным причинам, в Нижнем Новгороде, тяготилась своим бездействием. Действительно, ее роль была чисто пассивная. Она хранила в одиночестве динамит. Она еще более замкнулась в себя и сосредоточенно ожидала часа, когда понадобится ее работа.

IV

10 января в Москве получились первые известия о петербургских событиях. Великий князь переехал из Нескучного в Николаевский дворец. Его переезд помешал нашей работе. Наблюдение за Нескучным дворцом уже дало нам вполне определенные результаты: мы выяснили, что великий князь ездит в Кремль обычно по средам и пятницам, и во всяком случае, не менее двух раз в неделю от двух до пяти часов пополудни.

Мы уже намеревались приступить к покушению. Теперь приходилось начинать наблюдение сначала, и, что еще хуже, наблюдать в самом Кремле. Мы не знали, когда и куда будет ездить великий князь, т.е. через какие из кремлевских ворот. Нас было немного, и следить по ту сторону кремлевских стен мы поэтому не могли. Приходилось, волей-неволей, наблюдать внутри их, на глазах у великокняжеской охраны. Моисеенко, со своей обычной смелостью, в первый же день остановился у самой царь-пушки, где почти никогда извозчики не стоят. От царь-пушки был виден Николаевский дворец, следовательно, выезд великого князя не мог пройти незамеченным. Городовые и филеры не обратили внимания на извозчика, и с тех пор мы стали следить почти у самых ворот дворца.

Вскоре наблюдение установило, что великий князь ездит часто через Никольские ворота. Поездки эти бывали в разные дни, но в те же часы, что и раньше: не ранее двух и не позже пяти. Мы стали наблюдать у Иверской и очень быстро установили, куда ездит великий князь: он ездил в свою канцелярию в дом генерал-губернатора на Тверской. Каляеву удалось видеть однажды его приезд. Великий князь приехал не с главного крыльца, выходящего на площадь, а с подъезда, что в Чернышевском переулке. Несмотря на такие точные данные, сведений для покушения было, по нашему мнению, еще недостаточно. Невозможно было караулить великого князя несколько дней подряд, невозможно было ожидать его ежедневно с бомбами в руках по 2-3 часа на Тверской и в Кремле. Между тем, регулярных выездов у него больше не было, и нам оставалась единственная надежда – узнать заранее из газет, в котором часу и куда он поедет. Великий князь ездил нередко на официальные торжества: в театр, на торжественные богослужения, на открытия больниц и богоугодных заведений и т.п. Но газеты не всегда давали точные сведения. Необходимо было подумать, как отыскать источник верных и заблаговременных указаний.

Пока мы обдумывали подробности покушения, в Москву неожиданно приехал инженер-технолог Петр Моисеевич Рутенберг.

Рутенберга я знал давно, с университетской скамьи. Он вместе со мной был членом групп «Социалист» и «Рабочее Знамя», вместе со мной был привлечен к делу и содержался в доме предварительного заключения. Дело его окончилось полицейским надзором, отбыв который он поступил на Путиловский завод инженером. На заводе он приобрел любовь и уважение рабочих, и 9 января, вместе с Георгием Гапоном, шел к Зимнему дворцу в первых рядах. У Нарвских ворот он выдержал залп пехоты, поднял лежавшего на земле Гапона, увел его с собой с Нарвского шоссе, и через несколько дней отправил из Петербурга, в деревню, чтобы скрыть его от полиции. Он, конечно, тоже разыскивался полицией и приехал ко мне в Москву нелегально. Явку мою он узнал от А.Г. Успенского. Рутенберг встретил меня словами:

– В Петербурге восстание.

Он рассказал мне во всех подробностях то, что произошло в Петербурге, рассказал и про Гапона, упомянув о его желании выехать за границу. Я предложил мой запасной внутренний паспорт и обещал достать заграничный. Рутенберг через несколько дней отослал тот и другой Гапону, но последний не воспользовался ими: не дождавшись Рутенберга, он уехал из деревни и бежал без паспорта за границу.

Впечатление от петербургских событий было громадно. Неожиданное выступление петербургских рабочих, со священником во главе, действительно, давало иллюзию начавшейся революции. Рутенберг рассказывал о баррикадах на Васильевском острове, о непрекращающемся волнении рабочих, о подъеме общественных сил и выражал твердую уверенность, что 9 января только начало событий, еще более значительных и широких. Он убеждал меня, поэтому, ехать немедленно в Петербург и попытаться соединить боевую организацию с рабочей массой.

– Ведь у вас есть что-нибудь в Петербурге? – спрашивал он у меня.

Я дал ему уклончивый ответ, не имея права рассказывать о предприятии Швейцера.

– Но бомбы-то есть?

– Бомбы есть.

– Ну, так едем... С бомбами многое можно сделать.

Я посоветовался с Каляевым, Моисеенко и Бриллиант и решил послушаться Рутенберга, съездить в Петербург, чтобы убедиться на месте, можно ли чем-нибудь помочь выступлению рабочих. Рутенберг ожидал новых и решительных столкновений с войсками.

12 января я приехал в Петербург и немедленно разыскал Швейцера. Он подтвердил мне все, что говорил Рутенберг, но прибавил, что, по его мнению, никаких выступлений в ближайшем будущем быть не может, что рабочие обессилены потерями, и что все попытки поднять упавшее движение неизбежно окончатся неудачей. Тогда же Швейцер рассказал мне следующее. Положение Татьяны Леонтьевой в так называемом большом свете укрепилось настолько, что ей было сделано предложение продавать цветы на одном из тех придворных балов, на которых бывает царь. Бал этот должен был состояться в двадцатых числах декабря. Леонтьева предложила убить царя на балу, и Швейцер согласился на это. Бал, однако, был отменен. Вопрос о цареубийстве еще не подымался тогда в центральном комитете, и боевая организация не имела в этом отношении никаких полномочий. Швейцер, давая свое согласие Леонтьевой, несомненно нарушал партийную дисциплину. Он спрашивал меня, как я смотрю на его согласие, и дал ли бы я такое же. Я ответил, что для меня, как и для Каляева, Моисеенко и Бриллиант, вопрос об убийстве царя решен давно, что для нас это вопрос не политики, а боевой техники, и что мы могли бы только приветствовать его соглашение с Леонтьевой, видя в этом полную солидарность их с нами. Я сказал также, что, по моему мнению, царя следует убить даже при формальном запрещении центрального комитета.

Швейцер рассказал мне еще следующее. Наблюдая за Треповым, петербургский отдел боевой организации случайно установил день, час и маршрут выездов министра юстиции Муравьева. Швейцер, действовавший в вопросе убийства царя самостоятельно, почему-то счел

нужным на этот раз испросить разрешения партии. Кроме члена центрального комитета Тютчева, в Петербурге находилась в то время и Ивановская, не принимавшая еще участия в покушении на Трепова и близкая к центральному комитету. Швейцер сообщил им, что наблюдение за Муравьевым закончено, и что 12 января, в среду, возможно приступить к покушению. Он просил их совета. И Тютчев, и Ивановская решительно высказались против убийства министра юстиции. Они доказывали, что смерть его не может иметь серьезного влияния на ход общей политики, и что боевая организация не должна тратить силы на такие, второстепенной важности, акты. Швейцер на свой страх не решился убить Муравьева, и 12 января министр, не потревоженный никем, по обыкновению проехал в Царское Село к царю. Я и до сих пор думаю, что этот совет Ивановской и Тютчева был ошибкой. Я думаю, что убийство Муравьева и само по себе могло иметь значение большое, непосредственно же после 9 января оно приобретало особую важность.

Выслушав Швейцера, я спросил:

– Если наблюдение за Муравьевым уже закончено, почему вы не можете убить его 19-го в среду, – ведь он опять поедет к царю?

– А центральный комитет? – ответил мне Швейцер.

– Во-первых, Тютчев – не весь центральный комитет, а во-вторых – нельзя не теперь сноситься с Женевой.

Швейцер задумался.

– Вы думаете, убийство министра юстиции будет иметь значение?

Я сказал, что если есть случай убить Муравьева, то нельзя не воспользоваться им уже потому, что неизвестно, будут ли удачны покушения, на Трепова и великого князя Сергея. Швейцер согласился со мной.

19 января состоялось покушение на Муравьева, но оно окончилось неудачей. Метальщиками были упомянутые выше «Саша Белостоцкий» и Я.Загородний. Первый накануне покушения скрылся, сославшись на то, что за ним якобы следят. Второй встретил Муравьева, но не мог бросить бомбы, ибо карету министра загородили от него ломовые извозчики. А через несколько дней Муравьев вышел в отставку, и покушение на него, действительно, потеряло смысл.

Случай с «Сашей Белостоцким» еще раз показал, как важен тщательный подбор членов организации. Будь на месте «Саши» Дулебов или Леонтьева, Муравьев, конечно, был бы убит.

Петербургский отдел боевой организации в то время еще окончательно не сложился: во главе его стоял Швейцер, Леонтьева хранила динамит, Подвицкий и Дулебов были извозчиками, Трофимов – посыльным, «Саша Белостоцкий» – папиросником, приехавший же из-за границы Басов и только что рекомендованный Тютчевым Марков еще не имели определенной профессии. Не имели ее также Шиллеров и Барыков, только собиравшиеся принять участие в деле Трепова.

11 января в Сестрорецке был случайно арестован Марков под фамилией Захаренко. При нем было найдено письмо, не оставлявшее сомнения в его принадлежности к боевой организации. Там же, в Сестрорецке, был арестован, под фамилией Дормидонтова, Басов, приехавший к Маркову по поручению Швейцера. Швейцер этим арестом был огорчен еще более, чем неудачей 19 января, но, замкнувшись в себя, не выказывал этого наружно. Он с прежней настойчивостью продолжал дело Трепова. Он сообщил мне тогда же, что ездил в Киев к Боришанскому, что киевский отдел уже приступил к работе, но что больше никаких сведений о нем он не имеет.

Убедившись, что в Петербурге мое присутствие совершенно не нужно, и что в ближайшем будущем нельзя ожидать нового выступления рабочих, я числа 15 января уехал с Рутенбергом обратно в Москву, куда приехала и Ивановская. Рутенберг, бывший до сих пор вне партии, выразил теперь желание вступить в партию социалистов-революционеров и, получив

от нас партийные пароли и заграничные явки, уехал за границу. Я рассказал Ивановской о положении дел в Москве и просил ее указать мне какое-либо влиятельное лицо, способное давать нам сведения о великом князе. Ивановская указала мне князя N.N. Она предложила мне зайти к писателю Леониду Андрееву, который знал князя лично и мог меня познакомить с ним. В один из ближайших дней я отправился в Грузины, к Андрееву. Ивановская не успела предупредить его о моем приходе, и он был очень удивлен моей просьбой. Я ему назвал мою фамилию, и только тогда он решился познакомить меня с N.N. Мы должны были встретиться с последним в ресторане «Эрмитаж», где N.N. мог узнать меня по условленным признакам: на моем столе лежало «Новое Время» и букет цветов.

Князь N.N. был выхолненный, крупный, румяный и белый русский барин. Он занимал в Москве положение, которое давало ему легкую возможность узнавать о жизни великого князя. Он был известен, как либерал, но редко выступал открыто. Впоследствии он стал видным членом кадетской партии. Когда он вошел в ресторан, я по его тревожной походке увидел, что он боится, не следят ли за ним или за мной. Это обещало мне мало хорошего, но я все-таки вступил с ним в разговор. Я сказал ему, что слышал много о его сочувствии революции, и спросил его, правда ли это.

– Да, правда, – отвечал он, – но как вы думаете, здесь безопасно?

Он в волнении заговорил, что в «Эрмитаже» его многие знают, что он может встретить здешних, что конспиративные дела надо делать конспиративно, и в заключение предложил мне прийти к нему на квартиру.

Я хотел ему сказать, что он выбирает самый неконспиративный способ свидания, но промолчал и согласился прийти к нему на дом.

На дому у него повторилось то же, что в «Эрмитаже». Он, видимо, боялся знакомства со мной и желал одного, – чтобы я возможно скорее ушел. Тем не менее, он с большой охотой согласился давать нужные сведения. Он говорил, что ему нетрудно их получить, что убийство великого князя – акт первостепенной политической важности, что он от всей души сочувствует нам, и в самом ближайшем будущем даст ценные и точные указания. Слушая его, я не совсем верил ему, но, конечно, я не мог себе представить тогда, что он, обещая многое, не сделает ничего.

Именно так и вышло. Князь N.N. ограничился обещаниями. Эта встреча показала мне, что в деле террора нельзя рассчитывать даже на наиболее смелых и уважаемых людей, если они не члены организации. Я убедился, что мы должны полагаться только на свои силы и рассчитывать исключительно на себя. Мой последующий опыт подтвердил это мое заключение.

Приближался конец января. В Москву приехал Тютчев. Он рассказал, что наблюдение за Треповым подвигается медленно, но зато Швейцеру удалось случайно установить выезды великого князя Владимира. Швейцер хотел, поэтому, оставив покушение на Трепова, попытаться убить великого князя, – одного из виновников «кровавого воскресенья».

В Москве у нас все шло по-старому. По-старому Каляев, Моисеенко и Куликовский наблюдали за кремлевским дворцом, по-старому Дора Бриллиант ожидала, когда потребуется ее работа. Наше покушение грозило затянуться на неопределенное время.

Если дело Плеве сплотило организацию, связало ее тем духом, который впоследствии Сазонов определял, как дух «рыцарства» и «братства», то наша работа в Москве еще более упрочила эту связь. Я могу без преувеличения сказать, что все члены московского отдела, не исключая и Куликовского, представляли собою одну дружную и тесную семью. Этой дружбе не мешала разница характеров и мнений. Быть может, индивидуальные особенности каждого только укрепляли ее. Я склонен приписывать исключительный успех московского покушения именно этому тесному сближению членов организации между собою.

Моисеенко по характеру напоминал Швейцера. Он был так молчалив, непроницаем и хладнокровен, как Швейцер. Его молчаливость переходила в угрюмость, и люди, знавшие его

недостаточно близко, под этой угрюмостью могли не заметить широкой и оригинальной натуры Моисеенко. Но в отличие от Швейцера, строго партийного в своих мнениях, – Моисеенко был человек самостоятельных и оригинальных взглядов. С партийной точки зрения он был еретиком по многим вопросам. Он придавал мало значения мирной работе, с худо скрываемым пренебрежением относился к конференциям, совещаниям и съездам. Он верил только в террор.

Каляев в Москве был тот же, что и в Петербурге. Но он уже чувствовал приближение конца своей жизни, и это предчувствие отражалось на нем постоянным нервным подъемом. Быть может, он никогда не высказывал такой горячей любви к организации, как в эти дни, непосредственно предшествовавшие его смерти.

В последний раз я видел его извозчиком в конце января, когда покушение было уже решено. Мы сидели с ним в грязном трактире в Замоскворечьи. Он похудел, сильно оброс бородой, и его лучистые глаза ввалились. Он был в синей поддевке, с красным гарусным платком на шее. Он говорил:

– Я очень устал... устал нервами. Ты знаешь, – я думаю, – я не могу больше... но какое счастье, если мы победим. Если Владимир будет убит в Петербурге, а здесь, в Москве, – Сергей... Я жду этого дня... Подумай: 15 июля, 9 января, затем два акта подряд. Это уже революция. Мне жаль, что я не увижу ее...

– Опанас (Моисеенко) счастлив, – продолжал он через минуту, – он может спокойно работать. Я не могу. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет убит. Если бы с нами был Егор... Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в Шлиссельбурге?.. Ведь ты знаешь, для меня нет прошлого, – все настоящее. Разве Алексей умер? Разве Егор в Шлиссельбурге? Они с нами живут. Разве ты не чувствуешь их?.. А если неудача? Знаешь что? По-моему, тогда по-японски...

– Что по-японски?

– Японцы на войне не сдавались...

– Ну?

– Они делали себе харакири.

Таково было настроение Каляева перед убийством великого князя Сергея.

С конца января мы стали готовиться к покушению. Каляев продал сани и лошадь и уехал в Харьков, чтобы скрыть следы своей извозничьей жизни и поменять паспорт. Вот что он писал от 22 января Вере Глебовне С. (жена Савинкова, урожденная Успенская):

«Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершенном и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной хотя бы радости изголодавшейся душе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно я легко, хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны. Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал, вот-вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр. Не смейтесь, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, душе и телу, холодно и неприятливо и безнадежно за себя и других, за всех вас, далеких и близких. За это время накопилось так много душевных переживаний, что минутами просто волосы рвешь на себе... Мы (боевая организация) слишком связаны и нуждаемся в большей самостоятельности. Таков мой взгляд, который я теперь буду защищать без уступок, до конца.

Может быть, я обнажил для вас одну из самых больных сторон пережитого нами?.. Но довольно об этом. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно радостным, веселым, как это солнце, которое манит меня на улицу под лазуревый шатер нежно-ласкового неба. Здравствуйтесь же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами. Здравствуйтесь, добрые, мои дорогие детские глазки, улыбающиеся мне так же наивно, как эти белые лучи солнца на тающем снегу».

Мы колебались, в какой именно день назначить покушение. Следя за газетами, я прочел, что 2 февраля должен состояться в Большом театре спектакль в пользу склада Красного Креста, находившегося под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Великий князь не мог не посетить театра в этот день. Поэтому на 2 февраля и было назначено покушение. Дора Бриллиант незадолго перед этим уехала в Юрьев и там хранила динамит. Я съездил за ней, и к февралю вся организация была в сборе в Москве, считая в том числе и Моисеенко, оставшегося все время извозчиком.

Дора Бриллиант остановилась на Никольской в гостинице «Славянский Базар». Здесь, днем, 2 февраля, она приготовила две бомбы: одну для Каляева, другую для Куликовского. Было неизвестно, в котором часу великий князь поедет в театр. Мы решили, поэтому, ждать его от начала спектакля, т.е. приблизительно с 8 часов вечера. В 7 часов я пришел на Никольскую к «Славянскому Базару», и в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в руках завернутые в плед бомбы. Мы свернули с нею в Богоявленский переулок, развязали плед и положили бомбы в бывший со мной портфель. В большом Черкасском переулке нас ожидал Моисеенко. Я сел к нему в сани, и на Ильинке встретил Каляева. Я передал ему его бомбу и поехал к Куликовскому, ожидавшему меня на Варварке. В 7.30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 часов вечера Каляев стал на Воскресенской площади, у здания городской думы, а Куликовский в проезде Александровского сада. Таким образом, от Никольских ворот великому князю было только два пути в Большой театр – либо на Каляева, либо на Куликовского. И Каляев, и Куликовский были одеты крестьянами, в поддевках, картузах и высоких сапогах, бомбы их были завернуты в ситцевые платки. Дора Бриллиант вернулась к себе в гостиницу. Я назначил ей свидание, в случае неудачи, в 12 часов ночи, по окончании спектакля. Моисеенко уехал на извозничий двор. Я прошел в Александровский сад и ждал там взрыва.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.